

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО •
• ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения и балканистики

Славяноведение



1993

НОЯБРЬ •

ДЕКАБРЬ •

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Содержание

СТАТЬИ

- Из словаря «Славянские древности» 3
Досталь М. Ю. Чешская наука в канун перелома (2-й съезд чехословацких историков) 39
Горизонтов Л. Е. «Методологический переворот» в польской историографии на рубеже 1940—1950-х годов и советские историки 50

СООБЩЕНИЯ

- Гурски Рышард Ю. И.* Крашевский и славянство 67
Бобрин М. Н. Финансовая реформа Владислава Габского 76

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

- Аксенова Е. П., Горяинов А. Н., Молок Ф. А.* Константин Алексеевич Пушкиревич 84

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- Смирнов Л.* Pravidlá slovenského pravopisu 98

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

- Мельников Г. П.* Славяне и их соседи. Еврейское население в феодальной Европе 101

ЗАМЕТКИ О КНИЖКАХ

- Васильев М. А.* Славяноведение в СССР: Изучение южных и западных славян. Библиографический словарь 104

ХРОНИКА

- Шиндин С.* Международная конференция «Русский авангард в контексте европейской культуры» 105

- Юбилей Л. С. Кишкина 108
Указатель статей и материалов, опубликованных в 1993 году 109

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

А. И. РОГОВ (главный редактор), В. К. ВОЛКОВ, Р. П. ГРИШИНА,
А. А. ГУГНИН, В. А. ДЬЯКОВ, М. С. КАШУБА, Г. Ф. МАТВЕЕВ,
С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Ю. С. НОВОПАШИН, М. А. РОБИНСОН,
Л. А. СОФРОНОВА (зам. главного редактора), Б. Н. ФЛОРЯ,
Т. В. ЦИВЬЯН (зам. главного редактора), М. А. ВАСИЛЬЕВ (отв. секретарь)

Зав. редакцией *И. И. Бизяева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л. А., Веслова И. Ю.,
Кошкина Е. А., Мочалова В. В., Оглозова М. А.*

Рукописи представляются в редакцию в двух экземплярах объемом: статьи — не более одного авторского листа (24 стр. машинописного текста через 2 интервала); сообщения — до 16 стр.; рецензии, заметки о научной жизни и т. п. — до 6—7 стр. машинописи. Рукописи, оформленные без учета принятых в журнале требований, к рассмотрению не принимаются; рукописи не рецензируются. В случае отклонения рукописи автору возвращается один экземпляр, другой остается в архиве редакции.



ИЗ СЛОВАРЯ «СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ»

В Институте славяноведения и балканистики РАН под руководством акад. Н. И. Толстого подготовлен к печати 1-й том этнолингвистического словаря «Славянские древности» — первый в славистике опыт энциклопедического словаря традиционной духовной культуры славянских народов. Словарь подводит итог более чем вековому изучению фольклора, мифологии, обрядов, обычаев и верований славян. Он будет состоять из пяти томов и содержать более полутора тысяч статей, посвященных наиболее значимым элементам традиционной народной культуры — символическим функциям предметов и действий, мифологии и символике растений, животных, явлений природы, персонажам низшей мифологии и т. п. Концепция словаря, его жанр и методы лексикографической обработки огромного по объему этнографического, фольклорного, языкового материала уже не раз обсуждались в специальных публикациях на страницах научных журналов и сборников, на многих специальных конференциях и симпозиумах [1].

В 1984 г. был издан проспект: «Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предварительные материалы», получивший немало откликов в научной печати [2]. Предварительные варианты словарных статей публиковались в отечественных и зарубежных периодических изданиях.

Настоящая публикация знакомит читателей с расширенными вариантами нескольких статей первого тома (буквы А—Г), относящихся к разным сторонам народной «картины мира» — живой природе и стихиям (Береза, Ворон, Ветер), символике бытовых предметов (Головной убор), мифологическим персонажам (Вампир).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Толстой Н. И., Толстая С. М. К реконструкции древнеславянской духовной культуры (лингво-этнографический аспект)//Славянское языкознание. Доклады советской делегации к VIII Международному съезду славистов в Загребе-Любляне. М., 1978; Толстой Н. И. Этногенетический аспект исследований древней славянской духовной культуры//Комплексные проблемы истории и культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы. Итоги и перспективы исследований. М., 1979; Толстой Н. И. Некоторые проблемы и перспективы славянской и общей этнолингвистики//Изв. АН СССР. Серия лит. и яз. 1982. Т. 41. № 5; Толстой Н. И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении

* В «Мифологическом словаре» под редакцией Е. М. Мелетинского (М., 1990; 2-ое изд. 1991) были опубликованы статьи Н. И. Толстого (Двоедушник, Дворовой, Здухач, Караконджалы, Коровья Смерть, Лихорадки, Овинник, Суденицы, Хала, Шуликуны), С. М. Толстой (Нечистая сила, Ночницы, Планетники), Е. Э. Будовской (Банник), О. В. Санниковой (Богинка) и др. В журнале «Русская речь» за 1988 (№ 4, 5), 1989 гг. (№ 4) печатались статьи: Близнецы, Борщ, Блины, Бессонница, Бабые лето. В журнале «Български фолклор» (1990, год. 16, кн. I, с. 29—42) была опубликована статья А. В. Гуры «Първата брачна нощ в славянския сватбен обред».

- языка и этноса//Ареальные исследования в языкознании и этнографии (Язык и этнос). Л., 1983; Толстые Н. И. и С. М. Принципы, задачи и возможности составления этнолингвистического словаря славянских древностей//Славянское языкознание. Доклады советской делегации к IX Международному съезду славистов. М., 1983; Толстые Н. И. и С. М. О задачах этнолингвистического изучения Полесья//Полесский этнолингвистический сборник. М., 1983; Виноградова Л. Н. Отражение славянских мифологических представлений в «малых» фольклорных формах//История, культура, этнография и фольклор славянских народов: X Международный съезд славистов. М., 1988; Теоретические проблемы реконструкции древней славянской духовной культуры. Ответы на вопросы//Советская этнография. 1984. № 3, 4; Славянский и балканский фольклор: Реконструкция древней славянской духовной культуры: Источники и методы//Отв. ред. Н. И. Толстой. М., 1989; Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора. Тезисы симпозиума. М., 1988; Т. 1; Фольклор: Проблемы сохранения, изучения, пропаганды. Тезисы. М., 1988. Ч. 1. Материалы к VI Международному конгрессу по изучению стран Юго-Восточной Европы: Проблемы культуры. М., 1989; Толстой Н. И. Язык и культура: некоторые проблемы славянской этнолингвистики//Zeitschrift für Slavische Philologie. 1990. В. 50. Hf. 2. S. 238—253. Образ мира в слове и ритуале: Балканские чтения — I. М., 1992; Символический язык традиционной культуры: Балканские чтения — II. М., 1993.
2. Сорокоумская Л. В.//РЖ Общественные науки в СССР. Серия 6. Языкознание. 1985. № 2. С. 39—42; Гаерлиук Н. К.//Народна творчѣсть та етнографія. Київ, 1985. № 6. С. 70—72; Budziszewska W., Perczyńska N.//Poradnik językowy. Warszawa — Łódź, 1985. № 7. S. 464—468; Eckert R.//Zeitschrift für Slavistik, В. 31 (1986). I. S. 149—151; Eisman W. Bericht zum Projekt «Etnolingwistisches Wörterbuch der Slavischen Altertümer»//Die Welt der Slaven. Heft 2 (1987); Bartmiński J.//Etnolingwistyka. Lublin, 1988. Т. I. S. 190—194; Ziel W.//Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte. В. 31 (16). Berlin, 1988. S. 284—285; Popowska-Taborska H.//Rocznik slawistyczny. Warszawa, 1989. Т. 46. Cz. 1. S. 85—90; Новичкова Т. А.//Русский фольклор. Л., 1989. Т. 25. С. 193—200.

ВЕТЕР.

В славянских народных представлениях о природе ветер занимает особое место в силу таких его свойств, как невидимость, неожиданное возникновение, быстрое перемещение, сопутствующие звуки, способность уносить с собой предметы и т. п. Все эти признаки получают в народе различную интерпретацию, часто основанную на вере в демонические силы (ср. происхождение самого слова *ветер* из и.-е. **у̑ей-* 'веять' с сохранением архаического суффикса *-tro-*, указывающего на существа среднего рода (см., например, [1])). Ветер в славянских народных представлениях персонифицируется, наделяется антропоморфными чертами. К нему обращаются за помощью в случае беды, несчастья (вспомним плач Ярославны в «Слове о полку Игореве»). Многочисленны славянские сказки о помощи ветра добрым героям.

Могущество ветра (русская пословица гласит: «Выше ветра головы не носи», т. е. 'не забывайся' [2]) проявляется как разрушительная (наравне с градом, бурей) или благотворная (аналогично дождю или солнечным лучам) сила. Все это вызывает необходимость задабривать ветер: ласково разговаривать с ним, «кормить» и даже приносить жертву.

Для славян характерно деление ветров на «добрые» (например, в Поволжье и прикаспийских районах *святой воздух* 'благоприятный ветер') и «злые», наиболее ярким воплощением которых является вихрь. По верованиям восточных славян, вихрь — девятый или двенадцатый брат среди ветров, самый злой и неугомонный, поляки называют его *kręty, zły, straszny wiatr (wiater)*. К неблагоприятным ветрам относятся также кашуб. *młota* 'сильный ветер, отгоняющий рыбу от берега моря' [3. Т. 3. S. 175], полес. *гнилица*, серб. *паликућа*, т. е. «поджигающий дома» [4. S. 101], аналогично у хорватов Сплита и Дубровника *палац* 'сжигающий растительность' [4. С. 109] и многие другие.

В соответствии с индоевропейскими представлениями о ветре как «ды-

хании Земли» южные славяне, лужичане и другие местами его обитания считали различные пропасти, ямы и пещеры в земле. В одну из таких пещер, как повествует сербская сказка, скрылся от преследования царевич и попал через нее «на други свет» [5]. Ямы и пещеры, через которые из Земли выходит ветер, люди пробовали закрывать в надежде, что он перестанет дуть. Болгары говорят: «Знать бы, где его дыра, так пошел бы и закрыл» [6]. Но, по их представлениям, пещеры и пропасти с ветрами стерегут летучие змеи — «халы», одноглазая ведьма — «вещица», затыкающая пальцем дыру, из которой выходит ветер, или слепой старец, старающийся закрыть ее шапкой.

Западные славяне полагают, что ветер живет на крутой, высокой горе или в глухом лесу. По верованиям восточных славян, ветры обитают в океане, на острове, «за морем» и т. п. Нередко местом «проживания» ветра считается страна, лежащая по другую сторону моря, например, у кашубов — Швеция [3. Т. 6. S. 122].

Причины возникновения ветра часто связываются с общеславянскими представлениями о нем как о пристанище души и местонахождения демонов. Душа, представляемая как дыхание, дуновение, отождествлялась с воздухом, паром, ветром. Считалось, что с сильным ветром, вихрем летают души грешников, прежде всего самоубийц и колдунов, а также людей, умерших не своей смертью¹. Так, поляки и словаки полагают, что в завывающем ветре слышны стоны висельника, белорусы замечают, что холодный ветер дует с той стороны, где утонул человек, македонцы Гевгелии связывают возникновение сильного ветра с убийством невинного человека и т. д. По мнению южновских и гжатских раскольников, ветры — это души грешных людей, которым назначено от Бога беспрестанно носиться по земле. Души злых людей вызывают ураганы, души людей менее грешных образуют сильный ветер, а лёгкий, прохладный ветерок дают души людей не очень грешных и добрых [8]. В Вологодской губернии считалось, что тихий ветерок возникает от дуновения ангелов, а бурный — результат действия дьявольских сил.

Душа, выходящая из тела заснувшего человека, называемого в с.-х. *здухач*, *стуха* (из алб. *stuhf* 'ветер, буря вихрь'), водит ветры, гонит облака, поэтому, по верованиям восточной Герцеговины, ветер могут вызывать борющиеся между собой герцеговинские и черногорские *здуве* [9]. Ветер и вихрь возникают и как результат иных действий демонической силы. Когда дьявол играет на вербовой дудочке, получается *g'izdovka* 'свистящий ветер' (кашуб.) [3. Т. 1. S. 395]. По народным представлениям сербов, если огромный змей-дракон сопит носом или испускает дух («подыхает»), из него выходит ветер [10. С. 63]. Нередко появление ветра славяне связывают с полётом ведьмы, чёрта, а переход ветра в вихрь — со свадьбой, танцами аналогичных дьявольских персонажей. Так, в Полесье вихрь называют *чортова висіля*, *вѣдзьмина вясѣлле*, *вэсѣле чортѡў*, *нечэстывых* и т. п. (см., например, [11]).

Возникновение ветра может объясняться и более «прозаическими» причинами. В Вармии говорят, *to zima sią s wiosną bije* (зима с весной бьётся) [12. S. 155]. В других районах Польши считается, что помощники ветра или кузнецы дуют в меха, руют деревья, поднимают морские волны и т. п. Черногорцы верили, что их легендарный герой Иво Црноевич точит в пещере меч, чтобы сразиться с турками [10. С. 300].

В случаях, когда ветер нужного направления необходим при веянии

¹ Об этом очень распространённом у славян поверье писали многие исследователи народной культуры; сошлёмся на самый известный источник, своего рода энциклопедию славянских верований К. Мошиньского [7. S. 480].

жита, для работы мельниц, в мореходстве, рыболовстве и т. д., люди специально вызывают, «приглашают» его на помощь. Самым надёжным способом вызвать ветер восточные и западные славяне считают свист. Иногда тем же целям служит пение: когда поют, называют ветер «по имени», выражая различные просьбы. В Архангельской губернии женщины прибрежных селений выходили вечером к морю *молить ветер*, чтобы он помогал их близким на воде. Они обращались к желаемому восточному ветру: «Востоку да обеднику каши наварю и блинов напеку, а западу шалонику спину оголю, у востока да обедника жена хороша, а у запада шалоника жена померла» [13]. Там же за благоприятным северным ветром «посылали» таракана, посадив его на лучину и пустив на воду. А люди в море молились св. Николе и бросали в воду хлеб *на поветерь*, т. е. чтобы подул попутный ветер. С целью вызвать ветер при веянии хлеба старухи Рязанской губернии дули в ту сторону, откуда возникал ветер, и показывали ему, махая руками, желаемое направление. У белорусов мельник должен был уметь *запречь ветер*: например, вызвать его в затишье, бросая горстями муку с верхушки мельницы [14. С. 135]. В Македонии распространены ритуалы приглашения ветра на обед или ужин в масленичный понедельник или на Рождество с целью обеспечить ветер летом во время веяния жита; ему выносили специально приготовленную для этого случая лепёшку, кислое или топлёное молоко, ракию и говорили, например, так: «Айде, ветре, да вечераме, а летоска на гумно да ни дуваш» (Давай, ветер, поужинаем, а летом на гумне нам подуешь) [15].

Дар или жертва ветру встречается у всех славян. Ветер «кормили» хлебом, мукой, крупой, мясом, остатками праздничных блюд, кроме того, бросали в ветер пепел от костей животных, потроха [16. С. 1212]. Чтобы успокоить сильный ветер, в Хорватии и Боснии сжигали части одежды, старый лапоть и пр. В восточной Польше, приглашая во время жары ветер, говорили: «*Powiewaj, wietrzyku, powiewaj, — damy ci Anusię (lub jaką tam dziewczynkę)*» (Подуй, ветерок, подуй, дадим тебе Анусю (или какую-нибудь там девочку)) [17].

В народных представлениях ветру придаются антропоморфные черты: он описывается как огромный, сильный человек, сидящий на поваленном дереве и дующий оттуда во все стороны света, или как четыре человека с громадными губами и усами, стоящие «в четырёх концах мира», дед в изорванной шапке, мужчина в залатанном кожухе или в большой шапке и развёрнутом голубом плаще, женщина с распущенными волосами — *cotka zŭda* 'южный ветер', *cotka norda* 'северный ветер' и т. п. (кашуб.). Таким образом, у ветра обычно толстые губы, огромная голова, шапка; он способен входить в дом к людям, ездить, кататься в повозке [18—21, S. 60; 7, S. 484; 3, T. 1. S. 140; T. 6. S. 122]. При безветрии говорят, что ветер чинит свой кожух, обедает, отдыхает [20, S. 56].

Персонификация отражается в названиях ветра: с.-рус. *Седориха* 'северный ветер', арханг. *ветер Мойсуй*, *ветер Лука* [19. С. 17], луж. *pan Wietrzyk*, чеш. *pan Větrovský*; *Větrnice* 'мать ветра', морав. 'жена ветра' [21. S. 59; 22. T. I. S. 40—45]. У западных славян считается также, что вой ветра — это плач русалки Мелюзины: *Meluzina za okny skuči, kvilí, pláče, hvízdá* (Мелюзина за окном воеет, ноет, плачет, свистит) — говорят о ветре чехи [22. T. I. S. 41].

У южных славян и на Карпатах в названиях как самой природной стихии, так и управляющих ею мифологических персонажей часто отражается отрицательно-демоническое начало ветра и его разновидностей. Так, у болгар и сербов ветер нередко отождествляется с летающим ненасытным змеем-облаком, откуда болг.-банат. *xála* 'сильный ветер с дождём, громом,

градом¹, болг. *Пиротска хала* — ветер, пригоняющий градоносные облака со стороны сербского города Пирота в сторону Софии, серб. *Тимочка хала* — восточный ветер, дующий со стороны реки Тимок на запад, к региону Ресавы, ю.-серб. *аламуња*, т. е. *хала-ламња* — сильный ветер, поднимающий сено в воздух и т. п. В то же время, как видим, целый ряд славянских демонологических персонажей как-либо связан с ветром, например, у хорватов Каставщины это *вила*, знаком появления которой выступает ветер, у болгар — *Полибник* — тихий, прохладный ветер, побратим Самовилы. На Карпатах известны *ветреник* и опасные для людей и скота *поветрули*, при полёте которых поднимается ветер, вихрь. Словаки считают, что ветер вызывают (олицетворяют) повелевающие этой стихией демоны: чародей-волшебник (*vitornik, vitroplavec*), ведьма-«босорка» (*veternica*), у поляков им соответствует *wietrznik*. Наиболее же ярко демоническая природа ветра отражается в общеславянских поверьях о вихре, который возникает и «действует» по всем «правилам» демонического персонажа (в определённое время, например, в полдень, в «опасных» местах и т. д.).

«Злые» ветры у всех славян считаются источниками болезней, причём особенно страшные последствия возникают при встрече с вихрем (паралич, эпилепсия, глухота и т. п.), что подробно описал В. Петров на материале украинских верований [23]. У южных славян не менее опасными считаются духи-ветры, нападающие на людей, серб. *хала* (*ала*), а также *ветро'и ветрошиње* — злые духи (мужские и женские), которые, опускаясь на людей, вызывают душевные расстройства, убивают прохожих своим дыханием и т. д. По верованиям сербов, злые, вызывающие болезнь ветры особенно опасны для людей на перекрёстках, кладбищах, около родников. Если в кронах деревьев играет ветер, нельзя туда забираться, спать под ними, мочиться; эти деревья — *самовилска* (Скопска Котлина). Ветер, от которого заболевают, называется у сербов *вилски ветар*; остерегаются также попасть, наступить и на *смуџене ветрове*. Болг. *диви, бесни ветрове* и *самовилски вятър/ветър* в Пиринском крае считаются причиной бешенства, а так называемый «белый ветер» (болг., серб.) и «красный ветер» (серб.) вызывает бешенство у собак. Для животных неблагоприятны также ветры определённого направления: с.-х. *козјодер, козјодерац, свињоморац* ('восточный ветер'), *дерикокош* ('убивающий кур') 'западный ветер', ср. рус. диал. *волкодав, волкорез* ('северо-восточный ветер'), *волкоед* ('восточный ветер'). По сербским поверьям, существуют и небольшие, тихие ветерки (*полежац, копилак, нагазни, црвени, бели, модри и жути*), которые стелятся у поверхности земли и переносят различные болезни [10. С. 63].

Считается, что ветер может переносить не только болезни (понимаемые как некие одушевлённые существа) но и порчу, чем охотно пользуются колдуны и колдуньи, навевающие свои чары по ветру. Неслучайно поэтому в Архангельской губернии невесте от рукоблтия до сватанья запрещалось выходить *на ветер*, т. е. на улицу [24], ср. рус. диал. *вѣтреное* 'напускная по ветру болезнь', *кто с ветру скажет* — *болезнь тут как тут*, владимир.-поволж. *напуск* 'порыв ветра'. Предполагалось, что знахари, колдуны *по ветру пускают*, т. е. портят людей [25], *колдун на вѣтэр пускаѣ*². Поляки Вармии полагают, что чаровница бросает чары на ветер, как будто «сеет» [12. S. 160]. Очевидно происхождение и таких названий болезней как рус. *поветрие* 'эпидемия', *ветрянкa*, укр. *вітерник* 'сыпь на теле', словен. *vētrnica* 'боль в суставах, род ревматизма', болг. *вятър, вѣтер* 'ревматизм' и т. п.

С целью избавления от болезней, порчи в славянских заговорах и

² Запись автора 1981 г. в с. Вышевичи Радомышленского р-на Житомирской обл.

заклинаниях используется мотив ухода нечисти вместе с ветром («относ ветром»), например, болг. пловдив. *вѣтрум душлѡ, вѣтрум утишлѡ*, болгар. ботевград. *вѣтър те доведѣл, вѣтър те отведѣл* (Ветер тебя принёс, ветер тебя отнёс) [26]; бел. *пошла, хира* (немочь, болезнь, погань), *наузвей вецер!* [14. С. 72]. В Полесье считается, что ветер «уносит» и неожиданно появившихся демонов: чёрта, сатану. Ср. белорусские ругательства, отсылающие к ветру, типа: *ветры яго вазьми* и т. п. Многие запреты у славян мотивируются боязнью «относа» ветром. Так, по верованиям из южной Польши, нельзя допустить, чтобы солому, на которой лежал мёртвый, унёс ветер; не следует также на ветру сушить детские пелёнки, иначе память или мысли ребёнка улетят вместе с ветром.

Поскольку появление ветра может быть очень опасно и непредсказуемо по последствиям, существовало многочисленное запреты на действия, якобы вызывающие ветер. По мнению поляков, нельзя бить землю палкой, бичом; в западном Полесье запрещается сжигать старый веник (*дъркач*), у украинцев — разорять муравейник, у сербов — дуть на огонь в Рождество, у черногорцев с Боки Которской — играть на корабле в карты во избежание встречного ветра и т. д. Чтобы защититься от внезапно поднявшегося ветра или заранее предупредить его возникновение, используются различные обереги: словенцы бросают порошок или пепел навстречу ветру, поляки кладут щепотку соли в угол двора, вставляют в снопы освящённые на Божье тело ветки, подкладывают, как и в Полесье, подкуренные колючие растения под стреху дома и т. д.

Из изложенного видно, как тесно переплетаются языческие и христианские представления славян о ветре, тем не менее кажется целесообразным выделить так называемый «книжный», культурный слой славянских верований в сверхъестественную природу ветра. По мнению крестьян Калужской губернии, «ветер происходит от маханья платком — либо Св. Ильёй, либо ангелами» [27]. Южные славяне полагают, что ветер людям посылают Бог и св. Илья, причем словенцы считают, что св. Илья мирит ветры, если они дерутся. У болгар распорядителем ветров считается и Св. Дух (что, возможно, связано с болг. *духам* 'дуть'). Ради благоприятного ветра македонцы празднуют день св. Ильи, а сербы — день св. Стефана, называемого *Свети Стеван Ветровити*: считается, что не соблюдающего праздник унесет в этот день ветер. В Боснийской Краине святые Афанасий и Сисой почитаются как *вјетрени свеци*, т. е. святые, оберегающие зрелые колосья и сухое сено от ветра; в Болевацком крае празднуется день св. Пантелея, повелителя ветра. В западной Сербии накануне дня св. Петра праздновался так называемый Вјетрени војвода, чтобы «Воевода ветров» не насылал больших ветров на землю. Идея подчинения этой природной стихии какому-либо особому божеству отражена и в «Слове о полку Игореве», где ветры — это «Стрибожи внуци».

© 1993 г. ПЛОТНИКОВА А. А., канд. филол. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Преображенский А. Этимологический словарь русского языка. М., 1958. С. 147.
2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978. Т. 1. С. 334.
3. Sychta B. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1967—1976. Т. 1—7.
4. Михајловић В. Српскохрватски називи ветрова. Нови Сад, 1966.
5. Јанковић Н. Астрономија у предањима, обичајима и умотворинама Срба//Српски етнографски зборник. Београд, 1951. Књ. 63. С. 49.
6. Архив на Етнографски институт и музеј при БАН. Софија. № 878—2. С. 14.
7. Moszyński K. Kultura ludowa Słowian. Т. 2. Kultura duchowa, cz. 1. Warszawa, 1967.
8. Добровольский В. Н. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914. С. 112, 195—196.

9. Филиповић М. Различита етнографска грађа//Српски етнографски зборник. Београд, 1967. Књ. 80. С. 271.
10. Кулишић Ш., Петровић П. Ж., Пантелић Н. Српски митолошки речник. Београд, 1970.
11. Азимов Э. Г. Полесские поверья о вихре//Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1983. С. 89.
12. Szyfer A. Zwyczajе, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków. Olsztyn, 1975.
13. Подвысоцкий А. О. Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885. С. 28.
14. Богданович А. Е. Пережитки древнего мирозозерцания у белоруссов. Гродно, 1895.
15. Кличкова В. Божикни обичаи во Скопска Котлина//Гласник на Етнолошкиот музеј. Скопје, 1960. № 1. С. 222.
16. Matičetov M. Pitanje vetra pri Slovencih//Народно стваралаштво. Folklor. Год. IV, св. 15—16. С. 1211—1214.
17. Kolberg O. Dzieła wszystkie. Т. 48. Tarnowskie-Rzeszowskie, 1967. S. 260.
18. Булашев Г. О. Украинский народ в своих легендах и религиозных воззрениях и верованиях. Киев, 1909. Вып. 1. С. 325—326.
19. Черепанова О. А. Мифологическая лексика Русского Севера. Л., 1983.
20. Bączkowska G. Ludowy duch wiatru//Akcent. 1986. № 4. S. 56—58.
21. Czerny A. Istoty mityczne serbów łuzyckich//Wisła. Т. 10. Warszawa, 1896.
22. Český slovník věcný a synonymický. Praha, 1969—1977. Т. I—III.
23. Петров В. Вирувания в вихор і чорна хороба//Етнографічний вісник. Київ. 1927. Кн. 3. С. 102—116.
24. Словарь русских народных говоров. Л., 1977. Вып. 4. С. 192.
25. Васнецов Н. М. Материалы для объяснительного областного словаря вятского говора. Вятка, 1907. С. 239.
26. Dukova U. Die Bezeichnungen der Dämonen in Bulgarischen. Entlehnungen//Linguistique balkanique. Sofia, 1985. V. VIII. № 2. S. 14.
27. Ермолов А. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах. Т. 4. Народное погодоведение. СПб., 1905. С. 395.

БЕРЕЗА входит в ряд наиболее почитаемых у славян деревьев, наряду с дубом, вербой, елью, липой; в системе народных представлений характеризуется противоречивыми признаками — как «счастливое» дерево, приносящее благополучие и защищающее от зла, и как дерево опасное, вредоносное, связанное с нечистой силой и душами умерших. Наиболее последовательно проявляется в фольклорном и этнографическом данным женская символика березы. В календарном цикле весенне-летних обрядов использовалась в качестве ритуального деревца как атрибут молодежных (преимущественно девичьих) обходных обрядов с последующим его уничтожением: в троицком цикле — наиболее широко у русских, реже в украинской и белорусской зонах и у западных славян, в меньшей степени — в южнославянской традиции; иногда в роли купальского деревца — в некоторых местах Украины и Белоруссии; в роли майского дерева береза использовалась преимущественно у западных славян, частично — в южнославянской зоне и в западных областях украинского и белорусского ареалов. Березовые ветки служили материалом для ритуального ряжения и декорирования людей и животных, обрядовых процессий, пути их следования, строений и т. п. Общеславянской чертой является вторичное использование засохшей березовой зелени, сохраненной после ритуалов весенне-летнего цикла в течение всего года для целей апотропейной и лечебно-профилактической магии, в ряде семейных обрядов, для гаданий и проч.

Менее распространенными были обычаи применения березовых прутьев в осенне-зимних календарных обрядах при обходах пастухов по домам.

Ритуально значимыми выступали такие части березы, как древесина, поленья, кора, береста, почки, а также березовые веники. Все это использовалось для гаданий, для изготовления ритуальных символов, в обрядово-магической и лечебно-профилактической практике.

Береза в календарном цикле обрядов. Для восточнославянской зоны отмечается приуроченность обрядов с березой к следующим датам календаря: Семик, Троица, Духов день, Русальная неделя, Купада; реже — Юрьев день, Пасха, Вознесение, Петров день. Наиболее характерным из них является цикл троичских праздников, включающих обрядовые действия с растущей или срубленной березкой и ее ветвями, и протяженные во времени двуэтапные ритуалы, совершаемые в два дня — суббота — воскресенье Троицкой недели, или в периоды Семик — Троица, Троица — Духов день, понедельник — четверг Русальной недели³.

Русские источники XVI—XVII вв. сохранили свидетельства об обрядах семицко-троицкого комплекса. В челобитной 1636 г. нижегородских священников говорилось: «В седьмой четверток по Пасце собираются жены и девицы под древа, под березы и приносят яко жертвы пироги и каши и яичницы, и поклоняясь березам, учнут походя песни сатанинские приплетая пети и дланми плескати и всяко бесятся» [1]. Основные этапы ритуальных действий этого периода были связаны с походом в лес, выбором растущей березы, украшением или завиванием ее, обрядовой трапезой возле нее, вождением хороводов, кумлением, гаданиями под украшенным деревом. В Рязанской, Московской, Владимирской и части Тульской губерниях на Семик (четверг перед Троицей, седьмой после Пасхи) девушки шли в лес, пели песни, вили венки, нагибали молодые березки, свивали из них венки и через них целовались попарно, приговаривая: «Покумимся, кума,/Покумимся!/Нам с тобою не браниться,/Вечно дружитья» [2. С. 103, 104]⁴. Белорусские девушки пели: «Покумилася, поголубилася с белой березонькой» [3. С. 268]. Иногда перед завиванием березу опоясывали лентой или поясом и пели: «Близ тебя, березонька,/Красные девушки/В Семик поют./Под тобой, березонька,/Красные девушки/Венок плетут» [2. С. 105]. Венки на березах также украшали лентами. В некоторых местах (по свидетельству И. Снегирева, в Воронеже начала XIX в.) венки завивали девушки на Троицын день, а развивали и пускали на воду в праздник Пятидесятницы [2. С. 106]. Через несколько дней березу надо было обязательно развить, иначе береза проклинала тех девиц, которые не развили на ней венок [3. С. 278]. Под березой девушки водили хороводы, а потом садились и ели яичницу и «козуль» — род круглых лепешек с яйцами в виде венка⁵. Пир под березой отмечен во всех концах России, Белоруссии и на Украине [4. С. 144]. В ряде мест обретенную березку оставляли в лесу, а сами, срубив несколько березок, возвращались с ними в село, врывали их в землю и вновь водили хороводы. В некоторых областях одно принесенное деревце ставили у кого-нибудь в избе, в саду, на площади села, наряжали лентами, лоскутками, платками, бусами, конфетами, а потом с семицкими песнями носили по селу от дома к дому. Зачастую носившие ритуальное деревце были в венках из березовых или липовых ветвей. В Енисейском округе (Восточная Сибирь) семицкую березку называли *гостейка*. Срубив, ее наряжали в девичье платье, прикрепляли к ветвям косу из кудели⁶, несли в деревню, где в каком-нибудь доме она оставалась до Троицы. В пятницу или субботу ее навещали жители деревни.

На заключительном этапе описанных обрядов происходило ритуальное

³ Иногда все ритуалы совершались в один день, но поэтапно: утром шли завивать березы, а вечером их развивали, а потом уничтожали (топили, сжигали и т. п.).

⁴ Венки из верхушек молодых березок в виде арок, под которыми совершался обряд кумления, известны в Калуге, в районе Трубчевска, Козельска, Тулы, Корочи Курской губернии [3. С. 266, 268, 271].

⁵ Е. В. Аничков рассматривал обрядовый пир под березой как пережиток жертвоприношения [4. С. 144].

⁶ В Ярославской губернии вместо косы прикрепляли фарфоровую куклу или бумажный цветок и называли березку кума.

уничтожение украшенной березки — потопление, сожжение, развивание. Деревце несли к реке, разряжали на мосту или на берегу и топили в реке [5], а иногда, прежде чем утопить, ее вновь закапывали у моста и водили хоровод [6. С. 134—135, 143]. По мысли Д. Фрезера, потопление деревца, вероятно, производили с целью вызвать дождь [7].

«Избавление» от березки или березового венка могло быть двукратным. Так, в Костромском крае завитые в Семик венки сначала кидали в рожь, а на Троицу забирали и бросали в реку [8. С. 617]. В Ярославской губернии березку несли в рожь, бросали там или втыкали в землю посреди поля, а затем несли обратно в деревню и сжигали [9. С. 195]. В Слонимском уезде Гродненской губернии после троекратного обхода деревни с троицкой березкой и бороной за околцей борону сбрасывали на землю, на нее клали деревце и все вместе сжигали [10. С. 223].

Такого рода многосоставный комплекс действий с семицко-троицкой березкой (завивание и/или украшение, обрядовая еда, хороводы, кумление, срубание, принесение в село, обходы села, временное установление возле дома или в нем, в центре села, в корчме, возле моста, в ржаном поле с последующим уничтожением — сожжением, потоплением, выбрасыванием с предварительным развиванием, разряживанием, раздеванием, а в ряде случаев с сохранением частей ритуального деревца — веток, листьев, украшений для дальнейшего использования в качестве апомропея — от грома, от вредителей, от болезней и злых сил) фиксировался преимущественно в зоне центральных русских областей, в Поволжье, на Урале, в Сибири, частично в восточных районах Белоруссии и Украины [9. С. 188—193]. Терминология таких действий включала выражения типа: *завивать, заламывать, вязать березку; рядить березку; ходить с березкой*. Второй этап, т. е. момент ее уничтожения, характеризовался терминологией ряда так называемых «проводных» ритуалов: *топить, провожать, хоронить березку; похороны весны, проводы Семика, проводы Дремы* и под. Сама троицкая березка в разных зонах называлась по-разному: *гостейка, кума, венок, столб, семик, сад, куст, весна, баба, красота* и др. Наиболее устойчивой чертой обрядов с березой было участие в них девушек и женщин, которые в троицкий период считали ее своей покровительницей: они кумились с ней, просили у нее доли, умывались березовым соком для красоты и здоровья. В Костромском крае верили, что девушки, первой севшая в тени *завитой* березы, выйдет замуж в текущем году.

По мнению В. Я. Проппа, празднество, устраиваемое в лесу вокруг растущей березы — более древняя форма обрядов семицко-троицкого цикла. Со временем дерево стали срубать и приносить в село, где его устанавливали и проводили вокруг него игры [11].

Д. К. Зеленый видел в русских и белорусских обрядах, совершавшихся в Семик и на Троицу, проявление древнего тотемизма — уподобление людей дереву (все участницы надевали на голову венки главным образом из березовых веток), с которым, по представлению древних, человек был в родстве [12. С. 59, 61].

Е. В. Аничков обратил внимание на те варианты обряда, когда поймавшую в селе березку уносили обратно в лес, где ее опять угощали, завивали, прощались с ней и оставляли, и пришел к выводу, что центральным пунктом обряда был не вход с зеленью, не внесение ее, а выход, вынесение. В доказательство своей мысли приводит запись из протокола Синода от 13 мая 1741 г.: «Оные безчинники ... вышеупомянутые березки, износя из домов своих ... провожают по подобию елинских пиршеств: овии в леса, овии же к водам» [4. С. 142].

Кроме описанного комплекса обрядов, в которых береза выступала в

качестве ритуального деревца, ее ветки могли входить в состав троицкой зелени (наряду с рябиной, черемухой, калиной — в русской традиции; с кленом, ясенем, липой, явором — в украинской и белорусской традициях), которой украшали на Троицу дворы, дома (внутри и снаружи), окна, ворота, хозяйственные постройки, скот. После праздников ветки не выбрасывали, используя для охраны скота и урожая от злых сил и вредителей.

В украинско-белорусской зоне троицкие березки иногда сохранялись до праздника Купалы и затем сжигались на купальском костре. Кроме того, в селах Волянского Полесья они могли выступать в качестве купальского деревца [13].

В украинской и белорусской традициях троицкая зелень, в состав которой входила и береза, называлась в разных зонах *троица*, *май*, *кличанье*. Как и у русских, ею украшали дворы, дома, окна, ворота, хозяйственные постройки, колодцы, а после праздников сжигали, выбрасывали, относили скоту, частично же сохраняли в качестве защитного средства от града, грома, грызунов, от болезней, от ведьм [9. С. 190; 10. С. 222; 14].

Сходным образом в западнославянской зоне украшение домов, дворов, улиц ритуальной зеленью совершалось чаще всего на Троицу, Зеленые святки, на Русальной неделе, реже — в день св. Яна, в праздник Божьего Тела. В Польше почти повсеместно в состав зеленосвятской зелени, называемой обычно *маем*, входили береза или ее ветки [15. С. 61]. Накануне Зеленых святок парни ставили во дворах своих избранниц березовые деревца или высокие шесты с укрепленными деревцами на верхушках, а также строили на пути к дому «ворота» из веток [16. С. 215]. В Чехии накануне Троицы парни вырубали в лесу столько берез, сколько было в селе девушек, и кроме того дополнительно деревца, которые ставили ко всем часовням, фигурам святых, к придорожным крестам; по сторонам костела устанавливали по три березы, а у главного входа — ель. По данным исторических свидетельств, раньше ставились только березовые *маи*, затем использовались деревья, растущие поблизости (дуб, липа, рябина, ель и проч.) [17. С. 288—289]. Срубание и установка березовых *маев* было по преимуществу делом парней. В некоторых случаях «майскую» зелень заготавливали и торжественно вносили в село группы молодежи обоего пола. Широко использовались ветки березы и у лужичан для украшения на Троицу своих домов, дворов, церквей. Считалось, что эти ветки охраняют от нечистой силы, мышей и других вредителей [18. С. 139]. По свидетельству источника 1672 г. об обычаях лужичан, в канун дня св. Яна женщины срубали в лесу березу и впрягшись в телегу, везли ее в село, где она устанавливалась в качестве «майского» дерева [19. С. 483].

Обряды, связанные с установкой «майского» дерева у западных и частично южных славян практиковались в тот же период весенне-летнего календаря — в день св. Филиппа и Якуба, в первое воскресенье мая, на Зеленые святки (реже — в среду перед Вознесеньем, з последнее воскресенье апреля, в праздник Божьего Тела, в канун дня св. Яна). Нередко общесельский *май* выбирался из породы хвойных деревьев, а молодые березки (чеш. *tajku*, *tajovku*, *tajecky*) парни устанавливали ночью перед домом своих девушек: в знак расположения и брачного предложения.

В роли «майского» дерева использовалась береза и у словенцев, которые избирали для этого наиболее высокие березовые деревья и украшали их вершины связками апельсинов и пирогами [20. Т. 1. С. 303]. На праздник Божьего Тела ставили по березке с букетом цветов на верхушке справа и слева от дверей [20. Т. 2. С. 63].

Кроме рассмотренных выше способов украшения троицкой зеленью, «майскими» деревьями и проч., разнообразные формы ритуального дежора с использованием зелени березы характерны также для целого ряда других

обычаев весенне-летнего цикла. Так, в тех южнорусских областях и на Украине, где неизвестны обходы с троицкой березкой, ее ветки часто использовались как материал ряжения в составе ритуалов типа «похорон/проводов»: при «вождении Куста», «проводах Русалки», «проводах Соловушки», «похоронах кукушки» и под. Например, в Ровенской области девушку, изображавшую «Куст», всю увешивали ветками березы (а также липы, клена) и водили по селу с песнями: «Нарядили Куста з білої берьози...» [21]. Таким же образом укутывали в зелень (ветки березы с добавлением хмеля, крапивы и других трав) «Русалку» в полесском обряде «проводов Русалки» [22]. В отдельных вариантах обряда «крещения и похорон кукушки» чучело кукушки всё изготавливалось из березовых веток, его помещали на растущую березу и само «крещение» часто происходило под березой [23].

Березовые деревца, ветки, береста использовались при ряжении в так называемых «королевских» западнославянских обходах, совершаемых на Зеленые святки. В Моравии, Чехии, Словакии и у лужичан при обходах с *кралем* вся процессия рядилась в маски, колпаки, одежды и пояса, сделанные из бересты и веток березы (с добавлением хвои), а главные персонажи — *краль* и *знаменосец* — несли в руках украшенные молодые березки [24. Т. 2. № 2. S. 112—113]. Широко применялась также березовая зелень при украшении короля и королевы в польских зеленосвятских обходах [25. Т. 28. S. 87; 26].

В Словении накануне дня св. Георгия или за два дня до него отмечали праздник Зеленого Юрия: на одного из парней надевали сплетенный из ивы каркас (в некоторых местах, например, в Градце при Подземле, его делали из березовых ветвей), густо утыканный ветками березы. Зеленый Юрий носил длинный шест с березовым венком наверху или держал в руках березу, украшенную лентами. Во время обхода села участники обряда (*jurashi*) пели приветствия перед каждым домом. Хозяйки стремились заполучить ветку от убранства главного персонажа. Ее затыкали за стреху, полагая, что это будет способствовать яйценоскости кур. Юрашей одаривали яйцами. Если же им ничего не давали, они перебрасывали березовую ветку через крышу, говоря: «Da bi nikoli več kokoši jajc ne nesle!» («Чтобы куры никогда больше не неслись!») (с. Виница, обл. Доленьско [20. Т. 1. S. 274]). В завершение обходов Зеленого Юрия толкали в воду или обливали. Ветки, снятые с него, хранили как оберег против вредителей огородных культур [20. Т. 1. S. 271—275; Т. 4. С. 408].

Ритуально-декоративная и магически-охранительная функция березовой зелени, кроме того, проявлялась в народных обычаях праздника Божьего Тела, отмечаемого славянами-католиками на одиннадцатый день после воскресенья Зеленых святок. Подобно троицкой обрядности, основной комплекс ритуалов Божьего Тела сводился к сбору, заготовке и обрядовому использованию зелени (в том числе березовых деревьев и веток) в виде украшенных деревьев, их верхушек, пучков веток, гирлянд, венков и проч. В Польше в этот день повсеместно украшали дома и костелы ветвями березы [15. S. 61]. Молодыми березками обсаживали улицы, вдоль которых проходили процессии, из них же сооружались «зеленые алтари» под открытым небом. В дальнейшем вся эта зелень считалась магической и использовалась в качестве апотропея: ее забрасывали на крыши домов от грома [20. Т. 2. S. 72; 27]; ударив березовой веткой, сорванной с «зеленого алтаря», излечивали ребенка от болезней и ночного плача [28]; чтобы отогнать мышей, в угол амбара ставили березовые ветки, оставшиеся от процессий Божьего Тела [29].

По-видимому, с охранительной целью украшали березовой зеленью и

домашний скот в определенные даты весенне-летнего календаря: в Люблинском воеводстве накануне Зеленых святок вили венки из березовых веток и надевали на рога скота [15. S. 61]. В Мазовии пастухи покрывали самого красивого быка старой сетью, украшали ветками и цветами, на рога вешали березовый венок и гнали его впереди стада [16. С. 217]. В карпатской зоне (Галиция) в день св. Георгия на воротах загона для овец укреплялись ветки березы для защиты от нечистой силы. С этой целью в Боснии и Герцеговине при выгоне на пастбище скот били веткой березы [30 — 32].

Береза в семейных обрядах использовалась гораздо реже, чем в календарных. В восточнославянском похоронном обряде широко практиковался обычай набивать подушку для умершего березовыми листьями, а также выстилать ими или прутьями березового веника гроб. Во многих местах Польши сажали на могилах чаще всего березу [33. S. 488]; ставили через два дня после похорон крест из березы или ели. По сербским поверьям, фруктовые деревья и березы сажали на могилах для душ умерших [34]. Кладбищенские березы считались магическими деревьями: их ветками следовало стегать «подменыша», чтобы богинка вернула украденного ребенка [15. S. 63]. В Белоруссии на Троицу при поминовении родных на кладбище каждый пришедший отламывал от березы по ветке и передавал старшему в семье, тот связывал их в «семейный венок» и подметал им могилы родственников⁷. В ряде мест восточнославянской зоны в этот день производился обычай стегания могил березовыми ветками, что называлось *парыць старых*.

В свадьбе береза изредка использовалась в качестве ритуального деревца. В южнорусских областях украшенная лентами и бумагой свадебная березка называлась *кума* или *девичья краса*. В чешской свадьбе березовые ветки, обвитые тестом, втыкались в свадебный калач [24. Т. 13. № 10. S. 448—449]. На Русском Севере участвовала в обрядовой бане невесты: маленькие украшенные веточки березы втыкали в щели потолка и стен бани, а также вдоль дорожки к бане, на шести насаживали украшенные березовые банные веники. Если была возможность выбора, то для бани невесты заготавливали березовые дрова. В свадебных песнях о приготовлении банных веников говорится, что на березе, с которой ломаются ветки для веников, не должна сидеть кукушка, дерево не должно быть сухим, оно должно быть стройным, белым, с кудрявыми ветвями [35]. Существенную роль в свадебных обычаях играла также березовая метла: ее давали в руки молодой после брачной ночи, чтобы она подмела впервые новый для нее дом. В ряде мест березовая метла служила оберегом против злых сил. Так, в Сербии, когда шаферы собирались уходить в церковь, они должны были переступить через березовую метлу, чтобы уберечься от дурного глаза и нечистых духов [36].

В Польше для охраны новорожденного на пороге дома выставляли березовую метлу против ведьмы или ставили ее рядом с колыбелью, защищая младенца от «зморы» [37. S. 110]. Если младенец страдал каким-нибудь недугом, бабка выливали воду после купания под березу, если же был здоров — под сладкую грушу [15. S. 63]. В Моравии в люльку новорожденного клали девять березовых прутьиков для защиты от злых сил [33. S. 75].

Женская символика березы проявляется как на материале поверий и суеверных представлений, так и по данным календарной и семейной обрядности, а также в фольклорных текстах.

В восточнославянских обрядовых приговорах при сватовстве символами жениха и невесты иногда выступали дуб и береза: «У тебе, примерно, есть бярэза, а у нас дуб, не стали б их уместить слушать?» [38]. Среди свадебных

⁷ В Псковской губернии обметали родительские могилы пучками троицких цветов, что называлось «глаза у родителей прочищать» [2. С. 135].

обычаев карпатской зоны известен следующий: чтобы иметь в браке много мальчиков и только одну девочку, невеста при выходе из церкви после венчания должна была посмотреть в сторону леса и сказать: «Все в хаше дубы, лиш одна береза» [39]. Ветка березы, срощенная с дубом, использовалась в любовной магии: с нею девушка незаметно обходила вокруг парня или поила его отваром коры с этого дерева (Полесье). В Речицком Полесье известна легенда о происхождении березы и осины: в наказание за грехи Бог превратил женщину в березу («иди в поле и стань березой да и плачь, спустивши руки, ибо ты береза»), а мужчину — в осину («иди в лес, стань осиной и дрожи до конца света»). В некоторых полесских селах при похоронах покрывали тело женщины ветками березы, а тело мужчины — ветками тополя. В Черниговской области считали, что посаженная близко от дома береза вызывает женские болезни у его обитательниц; что наросты на березовых стволах образуются якобы от «бабских праклёнов», т. е. от ругани и проклятий несдержанных на язык женщин [13. Плехов Черниговской обл.]. При детских болезнях ходили лечить («передать») болезни девочек к березе (иногда к липе, осине), а мальчиков — к дубу. В Чехии и Моравии березки в качестве «майских» деревьев ставились возле домов точно по числу живущих в них девушек, причем старшей из них ставили самую большую березу, а младшим — поменьше [17. S. 281, 319]. В Словакии (р-н Горняцка) на общесельском *мае*-пихте (или ели), устанавливаемом в центре села, укрепляли мужскую фигурку, а на березе — женскую [24. Т. 52. № 4. С. 193]. В русских обрядах с троицкой березкой участвовали преимущественно девушки и женщины. Ритуальное деревце часто рядили в женское платье (ср. также ее названия типа *баба*, *кумушка* и т. п.).

В русском песенном фольклоре береза является самым распространенным символом девушки. В свадебных песнях поется, что невеста посылает свою «красоту» на белую березу (а также на осину, ольху, ель), а образ срубленной березки часто символизирует замужество или смерть девушки. В белорусских свадебных песнях невеста сравнивается чаще всего с белой березой. Во многих восточнославянских балладах, легендах, сказках отравленная, убитая или утонувшая девушка превращается в березу. В украинской песне березовый ствол называется телом девушки-утопленницы, а листья — ее волосами. В песнях с популярным мотивом «свекровь отравила невестку и сына» поется, что на могиле невестки выросла береза, а на могиле сына — дубочек. В некоторых восточнославянских быличках береза выступает как атрибут нечистой силы (например, ведьмы летали по ночам на березовых палках, надаивали молоко с березы; белые кони, подаренные человеку чертом, превращались в кривые березы, а хлеб — в березовую кору; женщин, в которых вселялся бес, бросало на березу и другие мотивы). В белорусских причитаниях *зяленьмі кусточкамі* называли умерших братьев, а *белымі берэзамі* — умерших сестер.

Связь березы с нечистой силой и душами умерших тоже обнаруживает ее преимущественно женскую символику. В восточнославянской традиции наиболее последовательно обнаруживается связь березы с русалками, которые появлялись на земле в период троицких праздников или на Русальной неделе. Считалось, например, что венки на березах завивались на Семик или Троицу для русалок, к «завитым» березам не подходили и не прикасались целую неделю из-за боязни русалок. В первое воскресенье после Духова дня русалки покидали березовые венки, после чего девушки шли их развивать [3. С. 263; 10. С. 190—191]. В Восточном Полесье широко распространено поверие, что на Русальной неделе русалки «на березе го́йдаюцца», «з берозы спускаюцца», «кугаюцца па берэзніку» (на березе качаются, с

березы спускаются, аukaются по березнику). Березы с длинными, свисающими вниз ветвями назывались русальными, к ним боялись подходить на Троицу, считалось, что именно на таких «русалки качались» [13. Великий Бор Гомельской обл., Хоробичи Черниговской обл.], «у лёсе, де бярозы длинные, тонкие стаять, ани чепляюца, делали арэли (качели) и кальшуца» [13. Житомирская, Гомельская, Черниговская обл.]. По представлениям белорусов, русалки с Троицына дня вплоть до осени живут на плакучих березах [3. С. 141].

В Полесье умершим в период Троицких праздников на могиле втыкали березы, «шчоб русалка почэпилася на яё да не йшла до хаты» [13. Вышевичи Житомирской обл.]. Для русалок же на Русальной неделе вывешивали на ближайших от дома березах сорочки и другую одежду. В Гомельской области обычай сжигать засохшую троицкую березку назывался *русáлку пáлить* [13. с. Комаровичи]. Березовые венки и ветки использовались при ряжении русалки в обряде «проводы Русалки» [22. С. 108—120]. В песнях, сопровождающих этот обряд, русалка изображается сидящей на *белой березе*, на *кривой березе*.

Единичные данные указывают на связь березы с лешим. В книге А. Терещенко описывается способ, каким его можно вызвать: следовало нарубить молоденьких березок и сложить их верхушками в середину, образовав круг, затем снять с себя крест и, став в центр круга, крикнуть: «Дедушка!» — лесовик тотчас явится [40]⁸.

По повериям крестьян Московской губернии в березовые ветки на Троицу вселялись души умерших родственников⁹ [42]. В польских повериях также сохранились представления о том, что в плакучие березы вселяются души умерших девушек, которые по ночам выходят из берез, танцуют возле них, «затанцовывая насмерть» случайных прохожих; или что под одиноко растущей в поле березой непременно покоится душа умершего насильственной смертью и в таком дереве вместо сока струится кровь [15. С. 51; 25. Т. 25. S. 30, 32]. Белорусы считали, что под березой необычного вида (искривленной, сросшейся или переплетенной с другим деревом) была загублена невинная душа [43. С. 133]. На Алтае верили, что пролитый березовый сок окрасит снег в кровавый цвет [8. С. 596]. Ср. полесскую загадку о березе: «Била биялява пред богом стояла: Боже милый, мое тело рубакуть и кровь пьютъ» [13. Рясное Житомирской обл.].

Следует отметить, что по одним повериям, березовые ветки в особых условиях могут содействовать колдовской магической практике, а по другим — служат эффективным защитным и отгонным средством против ведьм, вампиров, богинок, змор и других злых сил. Так, белорусы в Литовской Руси полагали, что приворожить девушку можно, подсыпав ей в питье или еду наструганную кожицу с корней двух сросшихся берез [44]. В некоторых селах западной Малопольши верили, что если в ночь накануне дня св. Яна в лесу сорвать ветку с березы, отвернувшись от нее, то вместе с этой веткой можно приобрести чародейскую силу [15. S. 61]. С помощью березовой ветки, вбитой в дно источника, можно было наслать порчу, например. вызвать задержание мочи у того, на кого направлено колдовство [15. S. 63]. С другой стороны, чрезвычайно широко распространены общеславянские поверия, что ветки березы, заткнутые за двери дома, хлеба, предохраняют от ведьм и другой нечистой силы.

Охранительная функция березы и ее веток в подавляющем большинстве

⁸ В Никольском уезде записан такой факт: «пишут на лоскутках бересты прошения лешим и приколачивают их в лесу» [41].

⁹ Ср. выражение *в березки собирается* — так говорили в Калужской губернии об умирающем; *любить до березки*, т. е. до могилы.

мотивировок отмечается при вторичном использовании березовой зелени после ритуального применения ее в цикле весенне-летних обрядов. Она сохранялась для разного рода магических и лечебных целей на протяжении года, частично же использовалась непосредственно после завершения обрядов.

Безотносительно к весенне-летним ритуалам охранительную функцию приобретали прутья и ветки березового веника, а также сами березовые веники и метлы.

Во всех славянских традициях (хотя и не повсеместно) известны поверия о том, что в березу редко бьет молния, поэтому рекомендовалось укрываться под ней во время грозы. Считалось, что ветки березы, заткнутые под крыши домов и хозяйственных построек, за иконы, заброшенные на крыши, оставленные на чердаках, предохраняют от молнии. В некоторых местах при приближении грозы засохшие березовые ветки сжигали в печи, окуривали ими дом или втыкали в наружную стену дома [24. Т. 2. № 5. S. 598; 45. S. 268; 46. S. 66]. Оставленная в поле троицкая березка, по представлениям крестьян Дмитровского уезда, защищала злаки от градобития [42; 6. С. 15]. Использованные в ритуалах Божьего Тела ветки березы, воткнутые затем среди полей и огородов, также служили защитой от града [20. Т. 2. S. 72]. В некоторых словацких селах в канун дня св. Яна совершали обряд «*tajéne úrody*» — ветки березы втыкали среди посевов, чтобы предохранить урожай от града и других стихийных бедствий [45. S. 267, 272].

Береза считалась действенным средством в борьбе с вредителями огородных и злаковых культур — грызунами, птицами, насекомыми и т. п. В Словакии на Рождество пастухи разносили по домам березовые прутья, которыми хозяйки хлестали по всем углам, чтобы в доме не было мышей. В Смоленской губернии жнецы били березовым веником последний сноп сжатого хлеба, чтобы грызуны не вредили урожаю в поле. В ряде мест с этой же целью втыкали березовые ветки среди посевов. Почти повсеместно у славян было распространено поверие о способности веток защитить капусту от гусениц. С охранительными же целями втыкали ветки в посевы льна и конопли — от кротов, мышей, насекомых. Для сохранения урожая и продуктов подкладывали ветки березы в картофельные ямы, амбары, погреба, кладовые [15. S. 61; 24. Т. 2. № 5. S. 609; 37. S. 68; 42].

Березовые ветки, венки, веники, прутья использовались как оберег от нечистой силы, болезней, ходячих покойников, ведьм во многих славянских традициях. Широко известные действия затыкания березовых веток за двери и окна домов, а также в ворота и хозяйственные постройки часто мотивировались стремлением отогнать злые силы. Использование березовых веток с такими целями особенно часто практиковалось в комплексе магических приемов по защите домашнего скота от ведьм и злых сил в наиболее опасные календарные периоды. Так, на Зеленые святки в Польше на рога коровам навешивали венки и ветки березы, затыкали березовую зелень над дверями хозяйственных построек; на св. Яна укрепляли ветки в стенах и на крышах коровников, хлевов, конюшен, чтобы обезопасить скотину от вредоносных действий ведьм [33. S. 357; 46. S. 64]. При первом выгоне скота на пастбище пастух трижды ударял каждую корову березовым прутом, а вернувшись домой, затыкал его за балку скотного двора, чтобы ведьмы не навредили [33. S. 493; 15. S. 61]. На Мазурах этот прут получала каждая хозяйка в день св. Степана от пастухов, которые обходили дома с охажками специально заготовленных березовых розог, и хранила до первого выпаса скота, воткнув в зерно [31]. В некоторых местах Словакии пастухи разносили *brezovce* в день Адама и Евы. Хозяйка брала прут и была пастуха, чтобы стадо было резвым. Этот обычай был известен и в Моравии. В отдельных местах считалось, что для возвращения корове

молока, отнятого ведьмой, надо забить в коровнике березовый колышек, а ведьму — если удавалось ее тут же подстеречь — следовало побить березовой метлой, что должно было лишить ее колдовской силы. При уменьшении молока у коровы рекомендовалось сделать из него масло, в день св. Яна выбросить его на двор и стегать масло березовым прутом до тех пор, пока не придет ведьма и не вернет отнятое молоко [46. S. 161]. Если масло плохо сбивалось, хозяйка стегала сметану березовым прутом. Считалось, что этот магический акт заставит ведьму придти и просить ее не мучить. Взамен она должна была исправить вред, причиненный корове.

Березовые метлы, веники, розги, прутья широко использовались в западнославянской зоне в магических целях для обезвреживания богинок, змор, дивожен, мары и других персонажей нечистой силы, похищающих новорожденных детей. Чтобы вернуть себе похищенного ребенка, следовало бить березовой розгой «подменыша» на пороге дома, на навозной куче или, натопив печь березовыми дровами, посадить «подменыша» на хлебную лопату и сделать вид, будто сажаешь его в печь — тогда богинка вернет ребенка матери, а своего заберет [25. Т. 59. S. 125; 15. S. 63; 24. Т. 5. № 3. S. 235]. От моры (чеш. *múra*), которая душила людей по ночам, помогало березовое полено, положенное под голову. Чтобы распознать ведьму, поляки в Познанском воеводстве клали березовую метлу возле порога в доме: обычная женщина свободно перешагивала через нее, ведьма же убирала ее в сторону и лишь тогда входила [37. S. 449—450; 25. Т. 15. S. 12].

Действие битья березовым прутом, веником тоже обнаруживает семантику изгнания или обезвреживания злых сил. В польской традиции отмечено поверие, что при битье березовым прутом ребенка болезнь тут же отступала; в Куявии считали, что дьявола можно прогнать только березовой палкой.

С зажженными березовыми ветками или метлами обегали поля, чтобы оградить урожай от бедствий [37. S. 65; 15. S. 61]. В Чехии с березовыми метлами трижды обходили деревню накануне дня св. Яна, чтобы ведьма не имела к ней доступа [24. Т. 11. № 9. S. 438]. Связь березовых метел с нечистой силой проявляется также в польском поверии, что ветер можно вызвать, сжигая 12 старых метел [37. S. 522].

Позитивные и негативные свойства березы. Как уже отмечалось выше, в народных повериях отражено противоречивое отношение к березе: она могла выступать как «доброе» дерево, в то же время могла вызывать страх, наделялась вредоносными свойствами. Во многих местах восточнославянской зоны, а также на северо-востоке Польши береза считалась «счастливым» деревом, приносящим добро [15. S. 61]. Ее сажали возле дома для защиты от града, грома, для отпугивания зла, для благополучия семьи, по случаю рождения ребенка в семье. По тому, когда распускались березовые листья весной, загадывали об урожае или о погоде [43. С. 131; 13. Озерск Ровенской обл.]. При строительстве дома во время подъема матицы хозяин устанавливал в переднем углу зеленую ветку березы, которую считали «символом здоровья хозяина и семьи» [12. С. 50]. В то же время на Мазурах и в Вармии березу считали вместилищем духов, поэтому якобы в нее часто бьет молния. В некоторых полесских селах запрещалось сажать березу рядом с домом, чтобы на хозяев не напали болезни, чтобы не вымерла семья (ср. другие мотивировки: береза много плачет, в нее бьет гром). По карпатским повериям, если женатый мужчина посадит во дворе березу, то кто-нибудь из членов семьи умрет. На Русском Севере место, на котором когда-то росли березы, признавалось несчастливым, на нем не ставили новый дом. В районе Сольвычегодска избегали пользоваться березовыми дровами и не жгли бересту, считая, что от этого заводятся клопы. Лужичане же полагали, что избавиться от блох можно при помощи битья березовым прутом в Пепельную

среду. В некоторых местах России был известен строгий запрет ломать, сгибать, крутить ветки березы и рубить деревца до Троицы [8. С. 599].

«Отмечалось, кроме того, что березовые ветки способствовали якобы хорошему росту растений и приплоду молодняка. Так, белорусы накануне Купалы втыкали ветки березы в посевы овса с приговором: «як веційкі у бяроз — толькі зерен дай овес!» [3. С. 629]. На Украине был известен обычай трести на Благовещенье ветки березы: упавшие семена собирали и разбрасывали в огороде в ожидании, что из них вырастет капуста [3. С. 628]. В некоторых местах Белоруссии и Украины девушки бросали в купальский костер длинные березовые ветки со словами: «Пусть мой лен будет так высок, как поднимается это пламя» [19. С. 270]. В Жешовском воеводстве ветку с алтаря праздника Божьего Тела затыкали в огороде в грядки с капустой, чтобы выросли крепкие и большие кочаны.

В польских селах считалось необходимым после выпекания хлеба положить в печь березовые поленья — «чтобы ягнята были белыми» [33. С. 146]. Белорусы под порогом новой конюшни закапывали березовое полено, чтобы велись лошади [12. С. 51]; (см. выше описанный словенский обряд, совершавшийся в день св. Георгия: с помощью березовой ветки старались увеличить яйценоскость кур).

Косвенные свидетельства о вредности березы содержатся также в следующих сообщениях: считалось, что девушка, бросавшая троицкую березку в пруд, подвергалась огромной опасности: если деревце сразу начинало тонуть, то это сулило девушке верную смерть [42]. В селах Жешовского воеводства запрещалось погонять домашний скот березовыми прутьями, чтобы он «не усох», и в этих же местах рекомендовали бить ведьму березовой метлой, если заставляли ее за колдовством, чтобы она зачахла [25. Т. 48. С. 27].

Противоречиво оценивается береза и в народных легендах: то как благословенное дерево, укrywшее от дождя Богородицу и Христа [37. С. 529] или спасшее св. Пятницу от преследования дьявола [47], то как проклятое Богом дерево за то, что березовыми прутьями хлестали Христа [37. С. 51].

В народной медицине широкое применение при лечении разных болезней имели ветки, листья, почки, кора, сок и наросты на березовых стволах. В лечебно-знахарской магической практике чаще всего использовались ветки, сохраненные после весенне-летних ритуалов или освященные в церкви в определенные даты календаря. Ими ударяли больного с целью изгнания болезни; на них укладывали страдающих ревматическими болями; заваривали отвары при лечении ангины, чахотки, малярии, лишаев и других болезней; окуривали людей и скот, поджигая засохшие листья. Полагали, что береза может помочь избавиться от лихорадки. В Мазовии страдающие малярией ходили в лес к растущим березам, трясли их с приговором: «Тряси меня, как я тебя, а потом перестань» [15. С. 62]. У русских больной лихорадкой шел в лес, где завязывал болезнь в ветках березы. В других местах советовали вылить воду, в которой искупали больного ребенка, на березовый пенек — болезнь заберет нечистая сила, живущая под ним. В Тобольской губернии, чтобы изгнать лихорадку из села, срубали березу и волочили ее по дороге за околицу. К березе обращались в заговорах, например, от бессонницы: «Березо, березо! ти біла».

При первом весеннем громе в некоторых селах Белоруссии рекомендовалось потереться грудью и спиной о березу или обнять ее руками, чтобы не болели грудь и руки [43. С. 213].

В Чехии страдающие недугом ходили тайно 1 марта к березе (или к

вербе), забивали в ствол кусочек полотна с каплей своей крови и ожидали, чтобы кора на этом месте срослась, тогда болезнь должна была пойти на убыль. Полученный в первый день марта березовый сок считался чудодейственным: девушки умывались им, чтобы приобрести красоту и здоровье, супруги пили его, чтобы иметь потомство [18. С. 91]. В Польше при испуге и плаче ребенка сжигали его одежду вместе с вытянутым из березовой метлы раздвоенным прутом.

© 1993 г. *ВИНОГРАДОВА Л. Н., канд. филол. наук,*
УСАЧЕВА В. В., канд. филол. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гальковский Н. М. Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. М., 1913. Т. 1. С. 50.
2. Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1838. Вып. 3.
3. Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии. Пг., 1916. Вып. 1. Умершие неестественной смертью и русалки.
4. Аничков Е. В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. СПб., 1903. Ч. 1.
5. Шейн П. В. Великорусс в своих песнях, обрядах, верованиях, сказках, легендах и т. п. СПб., 1898. Т. 1. С. 358.
6. Болонев Ф. Ф. Народный календарь семейских Забайкалья (вторая половина XIX — начало XX в.). Новосибирск, 1978.
7. Фрззер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии/Пер. с англ. М., 1980. С. 143.
8. Зеленин Д. К. Тотемический культ деревьев у русских и у белорусов//Известия АН СССР. Отд. обществен. наук. Л., 1933. № 8.
9. Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов (XIX — начало XX вв.). М., 1979.
10. Шейн П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. 1, ч. 1: Бытовая и семейная жизнь белорусов в обрядах и песнях. СПб., 1887.
11. Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963. С. 60.
12. Зеленин Д. К. Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов. М.; Л., 1937.
13. Полесский архив. Материалы экспедиций Института славяноведения и балканистики АН РАН, проводимых под руководством Н. И. Толстого.
14. Этнографическое обозрение. 1891. Т. XI. Вып. 4. С. 190.
15. Fischer A. Drzewo w wierzeniach i obrzędach ludu polskiego//Lud. 1937. T. XV. Ser. 2.
16. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы: Весенние праздники. М., 1977.
17. Zibrť Cz. Veselé chvíle v životě lidu českého. Praha, 1950.
18. Hanuš J. Bájedlovny kalendář slovanský čili pozůstatky pohansko-svátečných obřadův slovanských. Praha, 1860.
19. Časopis Českého Museum. Praha, 1891. T. 65.
20. Kuret N. Praznično leto Slovencev: Starosvetne sege in navade od pomladi do zime. Celje, 1965—1970. T. 1—4.
21. Народна творчість та етнографія. Київ, 1972. № 3. С. 67.
22. Виноградова Л. Н. Мифологический аспект полесской «русальной» традиции//Славянский и балканский фольклор: Духовная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986. С. 112.
23. Бернштам Т. А. Обряд «крещение и похороны кукушки»//Материальная культура и мифология: Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. 37. Л., 1981. С. 187—189.
24. Ceský lid.
25. Kolberg O. Dzieła wszystkie. T. 1—60. Wrocław — Poznań, 1961—1985.
26. Dworakowski St. Kultura społeczna ludu wiejskiego na Mazowszu nad Narwią. Białyostok, 1964. S. 102—104.
27. Gaj-Piotrowski W. Kultura społeczna ludu z okolic Rozwadowa. Wrocław, 1967. S. 60.
28. Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej. Kraków, 1885. T. 9. S. 25.
29. Bartoš F. Moravský lid. Sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. Telč, 1892. S. 15.
30. Hornácko: Život a kultura lidu na moravsko-slovenském pomezí v oblasti Bílých Karpat. Brno, 1966. S. 310.
31. Wisła. 1892. T. 6. S. 777.
32. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sarajevo, 1894. T. 6. S. 375.
33. Biegeleisen H. U kořebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą. Lwów, 1929.
34. Зечевић С. Култ мртвих код Срба. Београд, 1982. С. 12, 70.

35. *Vahros J.* Zur Geschichte und Folklore der grossrussischen Sauna. Helsinki. 1966. S. 151, 285.
36. *Чајкановић В.* Речник српских народних веровања о билькама. Београд, 1985. С. 51.
37. *Kultura ludowa Wielkopolski.* Poznań, 1967. Т. 3.
38. Сборник Музея антропологии и этнографии. Л., 1929. Т. 8. С. 161.
39. Подкарпатска Русь. 1929. Т. 6, № 6. С. 146.
40. *Терещенко А.* Быт русского народа. СПб., 1848. Ч. 6. С. 128.
41. *Потанин Г. Н.* Никольский уезд и его жители // Древняя и новая Россия. 1876. № 10. С. 140.
42. *Зернова А. Б.* Материалы по сельскохозяйственной магии в Дмитровском уезде // Советская этнография. 1932. № 3.
43. *Нихифоровский Н. Я.* Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. Витебск, 1897.
44. *Federowski M.* Lud Białoruski na Rusi Litewskiej: Materiały do etnografii słowiańskiej. Kraków, 1897. S. 328. Т. 1.
45. *Olejnik J.* Príspevok k poverčivosti ľudu v oblasti Vysokých Tatier // Nové ôbzory. 1963. № 5.
46. *Szyfer A.* Zwyczaje, obrzędy i wierzenia Mazurów i Warmiaków. Olsztyn. 1975.
47. *Максимов С. В.* Собр. соч. СПб., 1912. Т. 18. С. 282—283.

ВОРОН И ВОРОНА

Образу ворона в различных культурных традициях посвящено немало специальных исследований (см., например, [1]). Символика ворона на разнообразном этнокультурном материале, в первую очередь славянском, впервые была рассмотрена известным русским этнографом Н. Ф. Сумцовым [2. С. 61—86]. Несмотря на устаревшие методологические подходы к анализу фольклорно-этнографических данных, в ней намечены все основные мотивы, присутствующие в символике ворона.

В славянской народной традиции ворон и ворона, а также другие птицы семейства вороновых (галка, грач) объединены сходными представлениями и названиями. Имеется целый ряд собирательных обозначений всех этих птиц в целом — воронье, гайворонье, гай, галь, галье, чернь. В славянских диалектах представлены сходные названия у различных отдельных птиц этого семейства: **vorn-* — у ворона, вороны, грача (волын. *черная ворона*), у каждой из птиц этой группы (бел.-полес. *вороньяка* 'ворона, грач, галка, ворон'); **ga(j)vorn-* — у ворона (рус. *гайворон*, укр. *гайворон*, *гаворон*, болг. *гавран*, *гарван*, чеш., словац. *havran*), грача (рус. *гайворон*, пол. *gawron*, в.-луж. *havron*, чеш. *polni havran*) и вороны (в.-луж. *gerwona*, ср. также укр. говря 'ворона'); **grak-* — у грача (в.-слав. *грач*), ворона (пол. *grak*) и вороны (болг. *грака*); **gal-* — у галки (в.-слав. *галка*, *галица*, болг. *галица*), вороны (болг., макед. *галица*) и ворона (болг. *галица*, макед. *гал*, *галун*, с.-х. *galić*) (см., например, [3]). По народным представлениям, некоторые из птиц этого семейства способны превращаться в других. Так, поляки в районе Кракова считают, что молодые вороны могут превращаться в галок [4. S. 180]. Ср. также латышское поверье, что из яиц вороны, если она не успеет высидеть их до Великого четверга, вылупятся галки [5. S. 268].

Все птицы этого семейства рассматриваются как нечистые (дьявольские, проклятые) и зловещие, что объединяет их с коршуном и ястребом (ср. калуж. ворон 'ястреб'), филином и совой, сорокой и некоторыми другими птицами. Хищность и кровожадность, отличающая прежде всего ворона, сближает его в народных представлениях и обрядах с другими хищниками: коршуном, ястребом, волком.

Наряду с некоторыми другими птицами, а также с волком, вороны могут включаться в разряд гадов (ср. пол. диал. *gady* 'домашняя птица или вороны'). Согласно одним вариантам народной легенды, из опилок, щепок или стружек от выструганного чертом волка появились на свет гады,

согласно другим — вороны и галки. Хтонизм этих птиц проявляется в их связи с подземным миром — с хранящимися в землекладами, с мертвыми, душами грешников и преисподней. В этом отношении характерно, например, восточнославянское поверье о галках, улетающих на зиму в ад.

Как и кукушка, ворон — вещая птица. Он живет, как полагают, сто или триста лет и владеет тайнами: вещует смерть, нападение врагов, обладает магическим камнем, в русских былинах дает советы героям, в сербских сказках указывает зарытый клад, в украинских песнях приносит матери весть о гибели на войне ее сына и т. п.

Птицы этого семейства имеют черную окраску и противопоставляются белым птицам как зловещие, хищные и нечистые — добрым, кротким и святым, в особенности голубю, что находит отражение в представлениях о птичьей облике душ людей, в христианизированных легендах (например, о всемирном потопе) и т. д. С другой стороны, на оппозиции белого (или же пестрого, цветастого) и черного (безобразного) оперения строится комизм ряда сказок о вороне и некоторых фразеологических выражений (например, белая ворона).

Ворона фигурирует в украинском петровском обряде *гонити шуляка* — изгнании и похоронах «черной птицы» (ястреба, ворона, вороны, филина), которая символизирует смерть, а также во многом сходном с ним кашубском обряде «казни коршуна» (*ścinanie kani*) в Иванов день — отрубании головы вороне (называемой коршуном) и последующих ее похоронах.

Народные представления отчетливо выявляют дьявольскую природу птиц семейства вороновых. Так, западные украинцы считают ворона черным оттого, что он создан дьяволом [4. S. 141]. Согласно малопольской легенде, дьявол причастен и к появлению на свет ворон и галок [6. S. 62]. В пинском Полесье в вороне видят нечистую силу. У поляков Вармии черт может принимать облик черного ворона или вороны. По представлению украинцев Галиции, в образе ворона черт летает ночью по дворам и поджигает кровли. В польской быличке черти в облике ворон в полдень преследуют человека. В Витебской губ. верят, что черти в виде ворон слетаются и кружат над домом умирающего колдуна, чтобы помочь выходу его души из тела. Шумное скопление ворон, воронов, галок и грачей или их стаи, летящие после захода солнца, поляки юго-восточной Польши объясняют тем, что это черти пытаются похитить и забрать к себе душу грешника, осужденного на вечные муки. Эти птицы сопровождают дьявола, черт может появляться в их облике, а бес защищает ворона от нападения людей. В польской загадке ворона загадывается как черт:

Przyleciał diabeł z lasu
i porwał żółty kwiatek.
(Wrona porwała kurczę.)

(Прилетел черт из лесу и похитил желтый цветок). (Ворона унесла цыпленка.) [7].

По южнославянскому поверью, в вороне живет душа колдуна, по польскому — душа развратного ксендза. Белорусы представляют души злых людей в виде черных воронов и ворон, поляки — души грешников в виде галок. Украинцы считают, что ведьму можно определить по черному ворону, сидящему на ее доме. В белорусской шуточной песне о птичьей свадьбе воробей «пасадзіў на покуце крука, як ліхага беса» [8].

Библейское происхождение (Быт 8, 6—7) имеет известная в России, на Украине и на Балканах легенда о вороне, проклятом или наказанном Богом или Ноем за то, что, посланный с ковчега узнать, кончился ли потоп, он

не вернулся назад. Согласно русским, западноукраинским, румынским и боснийским вариантам этой легенды, в наказание за это ворон, некогда белый, как снег, и кроткий, как голубь, обречен быть черным, кровожадным и питаться падалью [2. С. 66; 4. S. 141; 9]. В аналогичной легенде из Далмации ворон наказан тем, что он не может пить воды в три засушливых летних месяца [10].

С представлением о воронах и галках как нечистых птицах связан запрет употреблять их в пищу. Однако в польском Поморье известен обычай разговляться на Пасху засоленным мясом ворон, которых ловят в течение всего Великого Поста. Вечером в Великую субботу парни обходят село с криком: «Wyganiajta post i kładźta wrony w gróp» (Прогоняйте пост и кладите ворон в кастрюлю) [11].

Хищность, кровожадность и разбой — характерные мотивы в представлениях о вороне и вороне. Вороны, как и ястребы, охотятся на цыплят. Чтобы уберечь их от ворон, поляки Понаровья подкладывают в гнездо насадке вороньи перья, а в Брестской обл. вывешивают на дворе убитую сороку. В Вятской губ. считают, что если перевернуть горшок, вороны не смогут увидеть цыплят. В Витебской губ. с той же целью в день Рождества ворон и ястребов называют *голубями*. В Житомирской обл., выгоняя в первый раз весной цыплят из хаты, произносят заклинание:

Святий Кузьма-Дем'ян,
Паси моїх курчат,
Щоб ворона не хватила
І нічого не зліло [12].

Похищение цыплят ястребом, в которого, по поверью, обращается кукушка, объясняют тем, что кукушка случается с другими, преимущественно хищными, птицами, в том числе, как считают поляки в районе Кракова, с самцом вороны.

В поверьях ворона с волком связывает хищность. Так, у русских существует примета: кто поет в лесу и увидит ворона, наткнется на волка. В Витебской губ. карканье ворона, пролетающего над стадом, предвещает скорое нападение на него волка. У румын ворон своим криком указывает волку, какую корову ему съесть. Согласно уже упоминавшейся легенде, известной полякам в районе Жешова, вороны и галки произошли из щепок, когда дьявол создавал волка, вытесывая его из дерева [6. S. 72]. Челюсти ворона и волка используют в летках ульев. Болгары Родоп вставляют ее в отверстия улья, чтобы пчелы пролетали через нее. Это должно, по их мнению, предохранять рой от болезней. В разных версиях сказочного сюжета «Братья-вороны» братья превращаются в воронов, ворон или в волков [13. № 451. С. 135]. Ср. также различные варианты названий одних и тех же растений типа *волчий глаз* и *вороний глаз*.

Как и других хищных птиц, убитого ворона или ворону украинцы и поляки вешают в хлеву или конюшне для отпугивания злых духов (черта, ведьмы, домового, ласки), чтобы они по ночам не мучили коней или коров, не заезживали их и не плели гривы. На Украине убитых ворон вывешивают также на полях для отгона воробьев.

В народном восприятии ворон связывается с кровопролитием, насилием и войной. О кровожадности его свидетельствует его крик, передаваемый в Смоленской губ. возгласом «кроу, кроу!» или «кryви, кryви!». Чтобы ружье было без промаха, русские охотники смазывали его дуло кровью ворона. В польской легенде из района Серадза в черного ворона обращен Богом богач в наказание за убийство брата [14]. У болгар шумное скопление воронов в селе сулило гибель его обитателям вследствие мора или нападения

турок. Стаи воронов и ворон воспринимались в прошлом поляками как предвестники наезда татар. Ворон, как считают в Болгарии, всегда летит вслед за войском, предвкушая добычу. Мотив крови присутствует и в западноукраинской легенде о вороне: «ворона хотела пить кровь, которая капала из ран распятого Спасителя, за что Бог проклял ее, и часть ее клюва по краям навеки получила кровавый цвет» [2. С. 82].

В символике ворона присутствует мотив кражи. Польская поговорка гласит: «Kruk z roku złodziej» (Ворон от роду вор) [15. S. 217]. Западные украинцы верят, что человек станет вором, если съест сердце или мясо ворона. Мотив кражи представлен в легенде, в которой ворон (в варианте из Ровенской обл.)¹⁰ или ворона (в варианте из Смоленской губ.) уличает перед Богом св. Петра в краже коней криком «украї!», в отличие от кукушки, кричавшей «ку-пиї!» [16. С. 89—90]. С кражей коней связывается в Минской губ. сон о вороне. Вороной, согласно западноукраинской легенде, стала девка, кричавшая Христу «крав!» [17]. На Брянщине, Смоленщине и в Полесье считают, что ворона своим карканьем «украли! украли!» или «краў! краў!» обличает вора или предсказывает кражу. В ответ на ее карканье в Гомельской обл., чтобы отвести от себя подозрение, следовало сказать: «Я не краў, я за свои грошы купляў!»¹¹. Тот же мотив представлен и в белорусских проклятиях: «Няхай на таго вораны кракаюць, хто кажа, што я ўкраў!», «Няхай над тым варонне кракаець, хто ўкраў!» [18]. В связи с этим о человеке, подозреваемом в воровстве, иногда говорят: «Над ним ворона каркаець»¹². В польской фации ворона кричит галке: «Kradła ty — przed laty» (Ты крала испокон веку!) [19].

Народные представления выявляют связь птиц семейства вороновых со смертью и миром мертвых. Хтоническая символика ворона представлена в раннем (X в.) арабском свидетельстве ал-Масуди, описывающем славянского идола в виде старца с посохом, которым тот извлекает из могил останки умерших. Под левой ногой его помещены изображения воронов и других черных птиц, под правой — муравьев [20].

В севернорусских похоронных причитаниях смерть залетает в окно черным вороном. Ворон предчувствует и предсказывает скорую смерть. Предвестием смерти является его крик «кро-кро!» (кровь-кровь!) или «гроб! гроб! гроб!» у болгар, «trup-trup!» у поляков. Ср. также болгарские диалектные названия ворона: *гроб*, *гробник*, *гробар*. Широко распространены у всех славян приметы о том, что если ворон каркает над головой путника, пролетает или каркает над домом, двором, селом, лесом или кладбищем, садится на крышу, трубу, бьет крыльями в окно, каркает в селе, на крыше дома, перед домом или на церкви, — значит путник, обитатель дома или села скоро умрет. Приметой смерти служит также крик ворон у украинцев и поляков, галок — у поляков и чехов, грача на крыше дома — у поляков. У поляков и гуцулов карканье вороны возле жилья или над головой — предвестие смерти или несчастья. В Рязанской губ. карканье ее на дереве в сторону кладбища — к покойнику. Во сне черный ворон (в Житомирской обл.) и каркающая ворона (в Гродненской губ.) тоже сулят смерть.

Каркающая ворона — вестница различных несчастий вообще (худых вестей, пожара и т. д.). Чтобы отвести несчастье, поляки сплевывают трижды вороне вслед, «в очи», плюют на камень и бросают им в нее или крестятся. При этом часто произносят угрозы или заклинания с целью отвести беду или обратить ее на саму ворону: «tfy! tfy! soli w uocy — piech ci fajno w gardło skocy, — lepsa Pana Jezusowa wola, — niżliś ty cała wrona»

¹⁰Запись автора 1978 г. в с. Лесовое Дубровицкого р-на Ровенской области.

¹¹Запись Ф. К. Бадалановой 1982 г. в с. Грабовка Гомельского р-на Гомельской обл.

¹²Запись А. Б. Страхова 1981 г. в с. Возничи Овручского р-на Житомирской обл.

(тьфу! тьфу! соль тебе в очи, дерьмо тебе в горло, лучше Христова воля, чем ты, ворона); «*ty, ty, lepszy Pan Bóg, niżli ty*» (тьфу, тьфу, лучше Господь Бог, нежели ты); «*a to tego cie twa mać naucyła, to ji, tak wołaj*» (раз этому тебя твоя мать научила, то вот ей так и кричи); «*oho, jakieś nieszczęście, a czegoż się tak drzesz?*» (ого, какое-то несчастье, а чего же ты так верещишь?); «*zebyś się rozdarła na śmierć*» (чтоб тебя разорвало на смерть); «*zebyś się na pół rozdarła*» (чтобы тебя разорвало пополам); «*bodaj-eś sie rozdarła od d... do gardła*» (чтоб тебя разорвало от ж... до горла); «*zebyś się rozpuła*» (чтоб ты надорвалась от крика); «*zakracz sobie nad głową*» (закарай себе над головой); «*przez szatanię*» (прочь, сатана) (см., например, [21]).

Украинцы Галиции говорят ворону, если он прокаркает в лицо путнику, отправляющемуся в дорогу: «Тьфу! пек тобі та осина! на голов, на зуб та короткій вік закрач собі» [2. С. 65].

В Воеводине вороны и галки, вьющиеся возле дома, предвещают голодный год. В Польше карканье вороны и перелетание ею дороги — плохая примета в пути. Западные украинцы считают, что, если стая ворон пролетит над войском, оно потерпит поражение. У поляков и украинцев для охотника или рыболова, отправляющегося на промысел, крик ворона означает неудачу. Русские охотники избегают упоминания ворона и используют для этого табуированные наименования: в Сибири — *верховой*, на Русском Севере — *курица*. У лужичан, закапывая ворона под порогом чьего-либо дома, наводят порчу на его обитателей.

Ворон обладает сокровищами и богатством. Он сохраняет клады, спрятанные в земле. В одной белорусской сказке рассказывается о том, как наследники в поисках денег раскапывают могилу скупой помещицы и обнаруживают ворона на груди у покойницы, которая была похоронена вместе с подушкой, куда она спрятала деньги. Ворон вынимал из подушки деньги и клал ей в рот, но людям не дал прикоснуться к деньгам [13. С. 192. № — 760А***].

В районе украинско-польского пограничья верят, что в гнезде ворона хранятся невидимые богатства: золото, серебро и драгоценные камни. Насобирав много золота и серебра, ворон золотит себе голову и хвост. В польской легенде ворон — наказанный за братоубийство владелец замков и огромных богатств [14]. Существующие в Германии поверья о корне из гнезда ворона, помогающем добывшему его во всех денежных делах, и о камне из гнезда ворона, делающем его обладателя невидимым (последнее известно, в частности, на острове Рюген), находят соответствия в Польше: кто добудет из гнезда ворона такой камень и будет носить его во рту или в кармане, станет невидимым.

В западном белорусском Полесье известно представление о злом духе в облике черной птицы — вороны или грача, который крадет и носит своему хозяину богатство за то, что тот держит его за пенью, гладит, кормит яичницей и не выбрасывает его помета. В облике вороны или сороки такой же дух (*kłobuk*) известен и полякам на Мазурах, а в облике галки (*kobod* — кобольд) — нижним лужичанам. В белорусской быличке белая ворона помогает ведьме отбирать молоко у чужих коров.

Как и некоторые другие птицы (аист, сорока, ястреб, сова, лебедь, кукушка, чайка), ворона, как объясняют детям, приносит младенцев. Такая роль вороны наиболее распространена у чехов. Реже ворон и ворона в этой функции известны у поляков. В Моравии дети обращаются с закличками к вороне с просьбой принести им братика или сестричку: «*Vrano, vrano, k nám, k nám, já rad kolíbám, bám, máme plínky a peřinky, zlatý poviján*»

(Ворона, ворона, к нам, к нам, я хочу колыхать, у нас есть пеленки, перинки, золотой свивальник) [22]. Изредка и на Украине встречаются объяснения, что детей приносит ворон или ворона. Например, в Закарпатье ребенку говорят: «Говря ты принесла та на подвір'я упустила»¹³.

Непослушным детям, в том числе и у русских, нередко грозят, что их заберет ворона. Моравские дети при виде вороны, чтобы она не схватила кого-нибудь из них, кричат:

Vrána letí,/ zakopáme do Božjho kostelíčka,
nemá detí,/ dáme mu tam tři jablíčka/
a my máme,/ (вар.: Páměickovi všecy dáme).
neprodáme,/

(Ворона летит, у нее нет детей, а у нас есть, мы их не продадим, закопаем в Божью церковку, дадим ему туда три яблочка)
(вар.: Господу Богу всех отдадим) [22].

Взаимосвязь ворона и муравья, отмеченная в свидетельстве ал-Масуди, выявляется и в народной традиции, но здесь отношения между ними носят враждебный характер. Согласно белорусским, украинским, польским и румынским представлениям, ворон старается вывести птенцов в марте или в феврале, пока муравьи еще не вышли из земли, иначе они поедят его птенцов. С этим представлением связан сказочный сюжет [13. С. 97. № 280] о состязании муравья с вороном (или вороной) в том, кто из них сильнее и кто сможет тащить на себе тяжесть (кусок олова) такой же величины, что и он сам. На кон каждый поставил собственных детей, и поэтому проигравший ворон, чтобы не дать, согласно условию, своих детей на съедение муравью, выводит птенцов заблаговременно. Ворона, по украинским представлениям, тоже рано выводит своих птенцов: на Трех святителей (30 I/12 II) она приносит три хворостичы на гнездо, а на похвальну, вторую субботу Великого Поста, может уже похвалиться первым яйцом.

Ворон и ворона находят применение в народной медицине. Так, поляки вороньим салом смазывают раны. Болгары в Родопах лечат эпилепсию пеплом от сожженной головы вороны, который дают с водой пить больному, а румыны — пером вороны. В Далмации считают, что желчный пузырь вороны вызывает бессоницу. В Гродненской губернии зафиксирован случай жертвоприношения вороны и петуха во время холеры: их закапывали в землю, чтобы отворотить эпидемию.

Совсем другие свойства вороны выявляют сказки о животных и некоторые малые фольклорные жанры — поговорки, анекдоты, подражания крику птиц. В них на первый план выставляется глупость вороны, что делает ее комическим персонажем. Польская поговорка гласит: «Głupi jak wrona, a chytry jak lis» (Глупый, как ворона, а хитрый, как лиса) [15. S. 143]. В сказках о животных глупость вороны сочетается с хвастовством и тщеславием: она хвалится перед орлом красотой своих детей и просит его их не есть. Орел же, увидев самых безобразных, съедает именно воронят [13. С. 95. № 247]. Ворона меняет свои перья на белые (ср. выражение *белая ворона*) и хочет смешаться с голубями, те ее прогоняют, но и стая ворон тоже не хочет принять ее назад [13. С. 94. № — 244*]. Так же и ворон, надевший лебединые или павлиньи перья, оказывается распознанным, ошипанным и опозоренным [13. С. 93. № 244]. Мотив вороны в павьих перьях отражен

¹³Запись Н. К. Гаврилюк в Хустском р-не Закарпатской обл.

и в польской пословице: «*Wronka prawie miała pierze, przed się wronka w śmieciu dłubie*» (Имела бы ворона павьи перья, да копается в грязи) [15. S. 513].

Ворона падка на лесть: схваченный ею рак расхваливает ее, и польщенная ворона раскрывает рот, роняя добычу [13. С. 90. № 227*]. Ворона не способна отличить свои яйца от подброшенных соколихой или кукушкой, и в результате соколенок съедает воронят или кукушонок бьет и изгоняет ворону [13. С. 91. № — 230***]. Она ленива и нерасторопна (ср. рус. *ворона* ('разиня') и поэтому на устроенных птицами выборах прозвала (проворонила) все начальственные должности (царя, губернатора, исправника и т. п.) и осталась не у дел [13. С. 89, № — 221*]. Из-за своей глупости ворона никак не может понять, что причина сора в ее гнезде — ее собственная неряшливость [13. С. 91. № — 227**].

Карканье вороны, нашедшей лепешку навоза, комически обыгрывается в народных шутках. Летом она кричит «гувно!», а зимой, сидя на мерзлом навозе, — «калач!» (Житомирская обл.),¹⁴ «калач, калач! Ни укалупиш!» (Смоленская губ.) [23; 16. С. 92]. На вопрос сороки: «Чы кысле? чы кысле?» — она каркает: «Да-арма! да-арма!» (Черниговская губ.) [24].

© 1993 г. ГУРА А. В., канд. филол. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Root A. B. The Raven and the Carcass. Helsinki, 1962. (Folklore Fellows Communications. V. 77. № 186); Keller O. Rade und Krähe in Altertum // Jahrbuch des Wissenschaftl. Vereins für Volkskunde und Linguistik. Prag, 1893; Мелетинский Е. М. Структурно-типологический анализ мифов северовосточных палеоазиатов (Вороний цикл) // Типологические исследования о фольклоре. М., 1975.*
2. *Сумцов Н. Ф. Ворон в народной словесности // Этнографическое обозрение. 1890. Кн. IV. № 1.*
3. *Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 6. М., 1979. С. 88—89, 92, 96—97; Вып. 7: М., 1980. С. 102—103.*
4. *Gustawicz B. Podania, przesady, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1981. T. V. S. 102—186; Kraków, 1882. T. VI.*
5. *Ulanowska S. Łotysze Infant Polskich, a w szczególności z gminy Wielońskiej powiatu Rzeżyckiego. Obraz etnograficzny // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1891. T. XV. S. 181—282; Kraków, 1892. T. 16. S. 104—218.*
6. *Silis J. Zapiski etnograficzne z Ropczyc // Lud. 1906. T. XII. Z. 1.*
7. *Folfasiński S. Polskie zagadki ludowe. Warszawa, 1975. S. 94. № 352.*
8. *Жартоўныя песні. Мінск, 1974. С. 489. (Беларуская народная творчасць.)*
9. *Mușlea I., Bîrlea O. Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hașdeu. București, 1970. P. 194; Бопхевуш Т. Р. Природа у веровању и предању нашего народа. Књ. 2. Београд, 1958. С. 53. (Српски етнографски зборник, књ. LXXI).*
10. *Ivanšević F. Pořica. Narodni život i običaji // Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. 1905. Knj. X. S. 206.*
11. *Stelmachowska B. Rok obrzędowy na Pomorzu. Toruń, 1933. S. 122.*
12. *Рукописні фонди Інституту мистецтвознавства фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, ф. 15—3 (фонд В. Кравченка), од. зб. 252, арк. 93.*
13. *Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская свадьба / Составители: Л. Г. Барга, И. П. Березовский, К. П. Кабашинов, Н. В. Новиков. Л., 1979.*
14. *Piątkowska I. Obyczaje ludu ziemi sieradzkiej. Szkic etnograficzny // Lud. 1898. T. IV. Z. 4. S. 415.*
15. *Kolberg O. Przysławia. Warszawa, 1977.*
16. *Добровольский В. Н. Звукоподражания в народном языке и в народной поэзии // Этнографическое обозрение. 1894. № 3. С. 81—96.*
17. *Потушняк Ф. М. Звірі и птахи в народном вірованю // Литературна неделя Подкарпатского общества наук (Унгвар), 1941, № 1.*
18. *Выслоўі. Мінск, 1979. С. 231. (Беларуская народная творчасць.)*
19. *Witanowski M. R. Lud wsi Stradomia pod Częstochową // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1893. T. XVII. S. 117—118.*

¹⁴Записи М. Р. Паяловой 1981 г. в с. Рясное Емильчинского р-на Житомирской обл.

20. Meyer K. H. *Fontes historiae religionis slavicae*. Berolini, 1936. P. 96.
21. Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. Kraków, 1881. T. V. S. 179—180; Kraków, 1887. T. XI. S. 46; Kraków, 1890. T. XIV. S. 211; Materiały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne. Kraków, 1903. T. 6. S. 252.
22. Bartoš F. *Naše děj. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesie, zábavy, hry i společné práce*. Praha, 1951. S. 60.
23. Kopernicki I. *Przyczynek do etnografii ludu ruskiego na Wołyniu z materyjałów zebranych przez P. Zofiję Rokossowską we wsi Jurkowszczyźnie w pow. Zwiąhelskim // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej*. Kraków, 1887. T. XI. S. 221.
24. Гринченко Б. Д. *Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях*. Чернигов, 1887. Вып. 1. С. 6.

ГОЛОВНОЙ УБОР — часть одежды, игравшая большую роль в традиционном этикете, для которого противопоставление обнаженная голова/покрытая было одним из важнейших, но реализовалось по-разному в зависимости от пола, возраста и семейного положения индивида. Если мужчины, как правило, носили шапку на улице и снимали в помещении, то для женщин обязательным было постоянное ношение головного убора. Для других возрастных категорий (дети, девушки) регламентация была не столь строга [1]. Нарушение замужними женщинами запрета «светить волосами» могло, как полагали, быть чревато несчастьями: неурожаем, градобитием, падежом скота (в.-слав., словац), неладом в семье, нездоровьем детей (болг.), болезнями, например, колтуном (полес.) (ср. русский заговор: *Спаси меня от колдуна и от девки гладковолосой и от бабы простоволосой*); «простоволосость» вообще может восприниматься как признак нечистой силы, а с другой стороны, по представлениям русских, непокрытая голова женщины делает ее уязвимой для лешего, домового и подобных персонажей [2]. На Русском Севере (Череповецкий уезд) замужней женщине нельзя было выходить во двор без платка на голове — «дворовый за волосы ишташит». На Полтавщине говорили, что солнце плачет, когда баба ходит с непокрытой головой («свитить волосом»). Поляки-гуралы считали, что женщину без головного убора может съесть волк. В более поздние времена ношение головного убора предписывается лишь в некоторых ситуациях: при уходе за скотиной (приурал.), приготовлении хлеба (великолуц.), кормлении младенца (сербы в Леваче), во время грозы (укр.)¹⁵. В Полесье местами ношение головного убора было обязательным в определенные промежутки времени, например, от Пасхи до Вознесения.

Головной убор мог отражать социальный статус индивида. Так, в древней Руси высота головного убора была прямо пропорциональна положению его хозяина в обществе, что отразилось в пословице «По Сеньке и шапка, по Фоме и колпак». Об этом говорит и лубочная картинка XVIII в., на которой изображен в боярском костюме маленький человечек с громадной шапкой на голове, и подписью: «Ходит Спесь надуваучись, / С боку на бок переваливаясь». В еще более утрированном виде знаковая природа головного убора сформулирована в сербской пословице: «шапка — старше человека» (*Kapa je starija od glave* [4, С. 74], ср. укр. *Жупан як жупан, аби шапка добра* [5]). Головной убор мыслится как неотъемлемая часть человека, наравне с волосами, ногтями и т. п., поэтому, снаряжая покойника в последний путь, ему надевают его головной убор или кладут его в гроб рядом с телом (восточно-, южнослав.).

¹⁵В других традициях, наоборот, во время грозы запрещалось укрывать голову, чтобы не спасти прячущегося от грома дьявола (бел.) [3]

Обнажение головы было знаком уважения, почитания. Так, любой мужчина, не исключая царя, должен был снимать шапку в церкви, перед иконой. На Украине этим мотивируется запрет находиться в помещении с прикрытой головой: *У шапці гріх у хаті сидіть, бо боги єсть* [6]. Данному требованию подчинялось даже духовенство (ср. описание богослужения в России середины XVII в. у П. Алеппского [7, С. 44, 164]) и женщины, которые, подходя целовать образа, снимали свои меховые шапки. Этикет предписывал также снимать головной убор перед человеком более высокого социального положения. А право оставаться с прикрытой головой в присутствии царской особы расценивалось как высокая честь.

Обнажение головы мужчиной имело сакральный смысл в некоторых обрядах. Так, у сербов в течение всего праздника слава хозяин и гости пребывают «гологлавы». Нередко мужчины обнажают голову при засеиве, в присутствии покойника и т. д.

Срывание головного убора чаще всего символизирует отказ от прежнего статуса, его отрицание. «Опростоволосить», «окосматить» женщину, т. е. сдернуть с нее головной убор, значило опозорить не только ее, но и ее семью, что, например, в Новгороде XII в. каралось высоким штрафом [8]. Скуфья священника, в которой он рукополагался, может быть снята лишь патриархом вместе с духовным саном. Если напавший на попа ударял по скуфье, он подлежал наказанию за бесчестие. Однако, оказав уважение сану и сняв его шапочку, обидчик мог безнаказанно его поколотить: удары в таком случае предназначались не духовному лицу, а недостойной личности [6. С. 128]. У сербов крестник, сбросив с себя шапку и произнеся «Кумовство в шапке», мог отлупить крестного, что не считалось преступлением. Так же и лжесвидетельство не подлежало осуждению, если совершалось с обнаженной головой [4. С. 74—75].

Иногда в обрядах срывание, кража головного убора приобретают игровой характер, хотя изначально жест этот был, вероятно, равносителен обнажению, оголению, т. е. бесчестию. Так, в Пепельную среду (первая неделя Великого поста) в Польше и Чехии женщины отнимали у мужчин шапки, требуя выкупа, а также брили и мазали их мыльной пеной. На Смоленщине и на Волыни весной женщины сдирали друг у друга платки с головы, желая этим магическим действием обеспечить хороший урожай хлеба [9]. В родинной обрядности с отца ребенка сдергивают и топчут шапку, пока он не откупится (Славония) [10].

Во многих случаях срывание головных уборов имеет брачные коннотации. На свадьбе подружки невесты крадут у жениха шапку, требуя выкупа, а дружки жениха пытаются им помешать. Эта функция иногда доверяется особым чинам — *колпачнику* и *подколпачнику*. Во время обхода аналогия сваха раздражает на невесте девичью повязку, или по окончании венчания священник сбрасывает с головы невесты ее «красоту» (новгород.). В Закарпатье невеста, желая подружке скорейшего замужества, снимает с нее венок или другой головной убор.

В послесвадебный период срывание головных уборов являлось иногда одним из способов приема молодоженов в круг взрослых. В Пензенской губ. женщины принимали в свои ряды молодлицу в первые недели Великого поста. Отведав ее угощения, они стегали ее, а затем, сорвав свои платки, благодарили и уходили. На Троицу мужчины сдергивали с молодого картуз, трясли им у него над головой с криком: «Порох на губе, жена мужа не любит», ожидая, что молодлица поклонами и поцелуями публично докажет свою любовь к мужу (новгород.) [11].

Покрытая — в нарушение традиционного этикета — голова свидетельствовала о маркированности ритуальной ситуации. Так, в Хомолье на празднике объявления имени новорожденного («казивање имени») и кум, и

гости сидят, не снимая головных уборов, пока он не сообщит имя крестника. У восточных славян, а также у сербов независимо от времени года жених оставался в меховой шапке на протяжении всей свадьбы, что имело апотропейный смысл. У македонцев он не снимает шапки во время венчания. Остается в головном уборе и словенская невеста в течение нескольких дней, отделяющих венчание от первой брачной ночи, или до первого посещения церкви (Люблинское воеводство). Она может также провести первую брачную ночь в полном одеянии, в сапогах и «завивалке» — специальным свадебном головном уборе (Минская губ.).

Перемена головного убора характерна прежде всего для свадебного обряда, где смена прически и убора невесты символизирует ее переход из девичества в зрелость. Так, о шапочке как метафоре брака молят девушки в Покров: *Святая Пакрова, Уже я сусим гатова: прыкрыла землю листочкам, прыкрый мне шапочкам* (Волковыск) [12]. У гуцулов, например, молодых называют «князем-молодым» и «княгиней-молодой» после того, как на него наденут шапку с венком, а на нее — венок; когда же затем на нее наденут намитку, она становится «молодицей». В номенклатуре свадебных чинов предусматривалась иногда особая участница — «завивальница», ответственная за перемену прически и надевание головного убора замужней женщины [13. С. 54—60]. Порой деньги, собираемые для молодых во время свадебного пира, назывались «на чепец» (русины).

Женский головной убор в большей мере, чем мужской, отражал изменения в возрасте и семейном положении. Если девушка не выходила замуж, то вместо девичьего или женского она носила гибридный головной убор, соединяющий черты того и другого. Если она принимала решение стать «христовой невестой», «уневеститься», то она подвязывала платок особым образом. Не имела права ни на девичий, ни на женский головной убор девушка, родившая вне брака. Перемена прически и убора совершались после родов: на распущенные по-женски волосы набрасывали платок, но завязывали его иным, чем замужним, способом (откуда и прозвище девушки-матери — «покрытка»).

Смена головного убора имела место и в похоронном цикле. Женщины носили, например, платки внакидку, не повязывая их, или набрасывали на голову особую одежду — кодман, пониток (рязан.) [13. С. 98—99]. Взаимный обмен платками был символом установления вторичного ритуального родства (ср. кумление).

Использование головного убора, принадлежащего противоположному полу, может быть одним из видов ряжения, как, скажем, в заключительном эпизоде свадьбы, или когда девушки нахлобучивают на дружку киду¹⁶. Чаще, однако, шапку жениха надевали на невесту в знак утверждения над ней его власти и в виде пожелания мужского потомства¹⁷.

При родах муж, обряжаясь в платье жены и повязываясь ее платком, стремится к самоотожествлению с ней, чтобы разделить ее страдания. Мужской головной убор мог осмысляться как апотропей: так, в Польше роженицы шесть недель после родов ходили в шапке мужа. На Украине в Сочельник хозяйка, надев шапку мужа, окуривает все хозяйство; после этого она имеет право весь год ходить с непокрытой головой. Чтобы у девочки поскорее выросли груди, она должна была тереть их шапкой, взятой у парня (полес.) [14].

В целом, однако, молодежь предостерегали от «неправильного» использования предметов, принадлежащих другому полу. В некоторых местах

¹⁶ Название женского головного убора, в частности, в Нижегородской губернии.

¹⁷ На Ровенщине это запрещалось: предполагалось, что невеста, на которую надели женихову шапку, может остаться бесплодной.

Польши и Белоруссии чужой головной убор, даже надетый шутки ради, мог сделать и мужчину, и женщину пугливыми: они будут бояться волка. Вместе с тем в Белоруссии же отмечено, что женщина, надевшая мужскую шапку, будет «доступна к скорому очарованию», и ее будет бояться домашний скот [15]. Девочка, натянув на себя мужскую шапку, потеряет косы (херсон.), станет жертвой сглаза (канев.), останется в девках (полес.) или родит бастарда (словац.).

Головной убор часто воспринимается как символ человека и может в некоторых ситуациях замещать его. Так, у болгар на первом этапе свадьбы отсутствующего жениха заменяли принадлежащие ему колпак и штаны. Женский и мужской головные уборы символизировали на свадьбе кроме того и ожидаемое потомство соответствующего пола: в постель новобрачным подкладывали шапку (картуз) или платок или нахлобучивали на них, чтобы способствовать рождению мальчиков и/или девочек (в.-слав., пол.), сажали невесту на мужскую шапку (босн.).

В Белоруссии и Калужской губернии над шапкой или детским чепчиком священник читал молитву и нарекал имя младенцу, если новорожденного не могли принести в церковь [16]. В Черногории епископ мог заочно прочесть особую молитву над головным убором больного, если тот не мог прийти к нему самолично. В Хомолье кум объявлял имя крестника тоже над шапкой, которую вместе с монетами затем дарил крестнику [4. С. 75, 80]. В Пензенской губернии на застрижках кумовья трижды с благопожеланиями поднимали вверх блюдо, на котором лежала шапка или платок (в зависимости от пола новорожденного), а сверху стоял горшок каши.

Из подобного восприятия головного убора вытекали и многие предписания в обращении с ним: нельзя играть шапкой, вертеть ею — голова заболит, нельзя класть на стол — будет сора (рус.) и т. п.

В сказках и поверьях головной убор может представляться как средоточие магической силы дьявола или другого мифологического персонажа. Если завладеть шляпой черта, можно стать богачом, если сжечь ее — лишить жизни черта (серб.). Во многих случаях отмечается специфическая остроугольная форма убора демона и его цвет — чаще всего красный, но также и синий, черный.

Типы головных уборов. Как и любая одежда, праздничный головной убор отличается от повседневного наличием украшений (перья, ленты, цветы) и большей архаичностью: старинный убор, вышедший из употребления, мог по-прежнему надеваться на свадьбу, похороны, а также праздники. Особо следует выделить траурный головной убор, отличающийся формой (например, полотенце в Калужской губернии), способом надевания (внакид) и цветом (белый, но также и синий, черный, красный) [13. С. 94—97]. Устойчивость головных уборов отражается как в фасоне, так и в цвете. И то, и другое может выступать как знак, метафора определенной социовозрастной группы: ср. бел. *белые головы*, пол. *białogłowa* — «замужние женщины» или олонец. *колотое копыто* «замужняя женщина или обесчещенная девушка» [17].

Часто головные уборы у славян акцентируют связь с животным миром. Для мужского убора это проявляется в выборе меха, например, волчьей шапки героев сербского эпоса; для женского более характерна связь с рогатыми животными (ср. рогатые женские уборы типа кички) и птицами — как в форме, так и в названиях (ср. рус. *сорока*, *кукушка*, *кокошник*).

Определенные значения приписываются не только виду головного убора, но и способу его ношения, его украшениям. Так, у хорватов заломленная на ухо шапка выражает отвагу, а может быть прочитана и как вызов на ссору. Следующим в таком случае жестом является выворачивание наизнанку головного убора (так поступает, скажем, Кралевич Марк). Перо (косирек)

на шляпе молодого человека у словаков Моравии истолковывалось как знак мужской силы, отваги и чести. Победивший в драке забирал себе перо с шляпы побежденного как драгоценный трофей; точно так же терял право на ношение косирека разоблаченный соблазнитель (моравские словаки).

© 1993 г. КАБАКОВА Г. И., канд. филол. наук

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Древняя одежда народов Восточной Европы. М., 1984. С. 80.
2. Зеленц Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991. С. 254.
3. Крачковский Ю. Ф. Быт западнорусского селянина. М., 1874. С. 151.
4. Чапкановић В. Кумство у капи//О магији и религији. Београд, 1985. С. 74—89.
5. Воропай О. Звичаї нашего народу. Етнографічний нарис. Мюнхен, 1966. Т. 2. С. 363.
6. Чубинский П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край. СПб., 1872. Т. 1. Вып. 1. С. 107.
7. Алеппский П. Путешествие Антиохейского патриарха Макария в Россию в половине XVII в. М., 1898. Т. 2.
8. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. С. 55—56.
9. Гаген-Торн Н. И. Магическое значение волос и головных уборов в свадебных обрядах Восточной Европы//Советская этнография. 1933. № 5—6. С. 83.
10. Krauss F. S. Sitte und Brauch der Südslaven. Wien, 1895. S. 541.
11. Максимов С. В. Собр. соч. СПб., 1903. С. 467.
12. Federowski M. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Kraków, 1897. Т. 1. S. 277.
13. Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX — начала XX в. М., 1984.
14. Сержпудоўскі А. Прымкі і забавоны беларусаў-паляшукоў. Минск, 1930. С. 170.
15. Никифоровский Н. Я. Простонародные приметы и суеверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах. Витебск, 1895. С. 81.
16. Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белоруссов. Гродно, 1895. С. 36—37.
17. Словарь русских народных говоров. Л., 1978. В. 14. С. 305.

ВАМПИР, УПЫРЬ — общеславянский мифологический персонаж, покойник, встающий по ночам из могилы. Он вредит людям и скоту, пьет их кровь, наносит ущерб хозяйству.

Вера в вампира основана на представлении о существовании двух видов покойников — тех, чья душа после смерти нашла успокоение на «том» свете, и тех, кто продолжает свое посмертное существование на «границе» двух миров. Представления о вампире у славян распространены неравномерно: наиболее развитые на Балканах, они ослабевают к северо-востоку славянского мира. У русских этот мифологический персонаж реализуется в образе заложного, или, как его еще называют, ходячего покойника. На Украине, западе Белоруссии и юге России вампир смешивается с колдуном, ведьмаком, чародеем. У южных славян на верования в вампира сильно повлияло представления о *волколаке* и, отчасти, о *караконджуле*. Упоминания о вампире встречаются в древнерусских письменных источниках начиная с XIV в. В них сообщается о жертвах (требах), которые приносили «упирам». Это же слово известно в качестве имени собственного (поп Оупирь Лихый, [1]).

Большинство названий вампира восходят к корню **opir* (или **opyr*), не имеющему однозначной этимологии. Одни сближают **opir* с серб. глаголом *пирити* 'дуть' [2. С. 165], что отражает главную особенность облика южнославянского вампира — его раздутость. Согласно другой гипотезе, *opyr* значит 'не преданный огню' (*o* — префикс отрицания и *pyr* — 'огонь, гореть', ср. греч. *ἄπυροϛ* 'безогненный' [3. С. 123]). От этого корня происходят формы: ю.-рус. *упырь*; укр. *вапир*, *опыр*, *упир*, бел. *упор*, *вупор*, *вампир*,

пол. *wampir*, кашуб. *urow*, чеш. *upir*, и под., а также формы с эвфемистическими искажениями типа: болг. *лепир*, серб. *лампијер* (племя Кучи), пол. *opi*. В центральных и северно-русских районах формы с этим корнем не известны, а соответствующий персонаж часто вообще не имеет определенного названия. Говоря о нем, информанты предпочитают употреблять глагольные конструкции: *Покойник ходит, приходит*. Отсюда возник термин *ходячий покойник*, употребляемый в научных описаниях, но не известный в народной традиции. В других названиях вампира подчеркивается его связь с миром предков и смерти: болг. и серб. *гробник*, болг. *дедейко*, пол. *mogus* и «ходячень»: болг. *бродник*, его опасные качества: *тенац* (сев.-зап. Болгария, Черногория; из роман. *tendère* «противоборствовать». [4]), обладание особым знанием: *wieszczy* (пол., кашуб., [5]), *všćun* (Далмация, Истра), его «физическая» природа: болг. *плътник* (из *плът* «плоть»). На вампира могут переноситься названия других персонажей: *zducha* (Черногория, [4], ср. сербских атмосферных демонов *здухачей*), *strzygoń* (Малая Польша, ср. белорусскую *стригу*), *дракус* (Родопы). В Хорватии и Далмации для обозначения вампира употребляются названия типа: *вукодлак*, *укодлак*, *вук*.

Согласно общеславянским представлениям, вампирами становятся люди, чье рождение, жизнь или смерть сопровождались нарушениями ритуальных норм. Чаще всего превращение в вампира связано с обстоятельствами смерти человека или с несоблюдением похоронного ритуала. В вампиров превращаются люди, умершие неестественной или преждевременной смертью: самоубийцы, скончавшиеся от ран, от эпидемических болезней и др., не оплаканные, по карпато-украинским, польским и южнославянским верованиям — не отпетые, умершие без исповеди, по сербским — в темноте, по македонским — на чужбине, во время Святых, не выполнившие своих жизненных обязанностей, в том числе, не оставившие потомства, не исполнившие просьбы. Последнее верование известно и на украинских Карпатах. Южные славяне считали, что в период с момента смерти до похорон существует наибольшая опасность превращения в вампира. Это случается, если через тело покойника передадут какие-либо предметы, если через него перескочит животное или перелетит птица. По мнению болгар, участь вампира ждет покойников, на тело которых попал дождь или похороненных на месте упавшей звезды. Это же происходит, если люди, несущие гроб на кладбище, обернутся назад.

У всех славян бытует убеждение, что в вампиров превращаются люди, нарушившие при жизни моральные нормы: развратники, убийцы, скупцы, пьяницы и другие грешники, а также имевшие дело с нечистой силой: колдуны, знахари, чародеи. Последнее было особенно значимо для восточнославянской традиции.

В ряде случаев превращение в вампира зависело от стечения обстоятельств, от судьбы. Украинцы Карпат считали, что если в семье подряд рождаются мальчики, то пятый или седьмой сын в семье становится упирем, а также тот, кто родился или был зачат в злую минуту, в праздники или в пост. Подобные представления известны и сербам. Кашубы так же думали о ребенке, родившемся в сорочке. У западных славян и на западной Украине объясняли превращение человека в вампира неправильным поведением родителей еще до его рождения: если ребенок был зачат в пост или праздник, если мать прошла между двумя другими беременными. У южных славян беременной запрещалось есть мясо животных, задушенных волком, иначе ребенка ждет участь вампира. Там же считалось, что таковыми становятся дети, рожденные от вампира, а также люди с двумя душами или сердцами, что связано с верой в двоедушников.

В большинстве случаев полагали, что вампиры — это умершие мужчины,

однако в ряде традиций — болгарской, польской, македонской считали, что ими могут становиться и женщины, особенно молодые, умершие от родов, бывшие при жизни знахарками и чаровницами. Поляки женщину-вампира называют *opisa*.

У украинцев, поляков, кашубов, а также в восточной Сербии существовала вера в живых вампиров, т. е. людей, чьи «вампирические» свойства проявлялись уже при жизни. Ими считались колдуны и двоедушники, чья душа могла на время покинуть свое тело и причинять вред другим людям. Такой вампир прятал свою душу под камень и, пока она там находилась, не мог умереть. На Подолье думали, что живой упырь носит на себе мертвого, который сам не может ходить, поэтому без живого не опасен.

Специфически южнославянским можно считать представление о том, что покойник превращается в вампира в течение 40 дней после погребения. Если за это время он не будет уничтожен, то от выпитой крови приобретает силу и может долго жить среди людей, не возвращаясь в могилу. До 40-го дня он остается невидимым (болг. *плътник*), затем его душа обрастает телом, но без костей (болг. *самсомолец*) и наконец, у него вырастают кости и он становится собственно вампиром.

Согласно общеславянским поверьям, вампир имеет облик конкретного умершего человека, одетого в свою смертную одежду. Украинцы и поляки считали, что он может оставлять свой саван возле могилы, отправляясь ночью в село. От обыкновенного человека его отличает ряд аномальных признаков: огромный рост, огромная голова и зубы, хвост. Украинцы Карпат считали, что под коленом у вампира имеется нарост, скрывающий отверстие, через которое вылетает душа. У него нет бровей, носа, хребта и рук. По общеславянским представлениям, характерная особенность вампира — его необычайно красное лицо и глаза. На это указывает и кашубская поговорка

«*Servoni jak věšci*» (красный, как вампир [6]). Краснота сохраняется и после смерти от выпитой вампиром крови. Южные славяне считают, что вампир раздут, как мешок, т. е. у него вместо тела — одна кожа, полная крови. Он не имеет костей, поэтому легко пролезает через маленькие отверстия, например, через замочную скважину. Украинцы, сербы и македонцы эту раздутость объясняют тем, что из могилы выходит не сам покойник, а дьявол, залезший в его кожу. Этот мотив известен в полесских быличках о смерти колдуна или ведьмы, в чью кожу залезают черти.

Представления о том, что вампир может изменять свой облик, принимать образ животных, наиболее характерны для южных славян. Болгары и сербы думают, что он часто имеет вид того животного, которое перескочило его тело перед погребением: кошки, собаки, курицы, реже — коровы, белого коня, ягненка, жабы и пр. Родным он показывается в человеческом облике, а чужим — в образе животного. Также он может иметь вид предметов: ползущего полотна или гайды (музыкального инструмента), наполненной кровью. Украинцы, поляки и кашубы считают, что вампир может иметь фантастический вид: человека, носящего свою голову под мышкой, человека с голым черепом, в котором горит огонь, а болгары представляют вампира в виде собаки с человеческой головой. Южные славяне считают, что вампир в первые 40 дней после похорон невидим или показывается в виде тени, ветра, имеющих очертания животного или человека.

Иногда по внешним признакам можно прогнозировать превращение человека после смерти в вампира. Поляки считают, что этому подвержены люди со сросшимися бровями, двумя макушками, родившиеся с двумя рядами зубов, разговаривающие сами с собой, те, чье тело после смерти не застывает, а по мнению южных славян, — те, чье тело раздувается и распухает, у кого после смерти остаются открытыми глаза. По мнению

украинцев и кашубов, у таких покойников сохраняется румянец, а болгары верили, что участь вампира грозит тем, кто похоронен с длинными ногтями. По южнославянским поверьям, могила вампира растрескивается, в ней появляется отверстие. Кашубы верили, что кони, везущие такого покойника на кладбище, на границе сел не могут сдвинуться с места.

Южные славяне «живого» вампира определяли по следующим признакам: он не отбрасывает тени, по ночам у него холодное тело, если он работает мясником, то у заколотой им скотины не бывает крови. На западной Украине «опыря» определяли, как и ведьму, переворачивая его спящего ногами на то место, где была голова. Вампир не может проснуться до тех пор, пока его не перевернут обратно, т. к. душа, вылетевшая во время сна из тела, не может найти путь назад.

Если подозревали, что покойник стал вампиром, то у южных славян и на Украине это определяли по тому, что в могиле он лежит лицом вниз или на боку. По общеславянским представлениям, тело его не разлагается. Поляки и украинцы считали, что, лежа в могиле, он ухмыляется и курит трубку.

Славяне полагали, что живет вампир обычно в могиле, откуда он выходит и посещает свой дом, а также дома тех, с кем был связан при жизни. Круг его перемещений, действий чаще всего ограничен своим или несколькими ближайшими к кладбищу селами, т. к. он должен возвращаться в могилу после первых петухов. Южные славяне считают, что тот вампир, у которого выросли кости, может переселяться подальше от своего прежнего жилья, чтобы его не узнали, он может существовать как обычный человек: жениться, работать и прочее, он должен опасаться острых предметов, которые могут послужить причиной его гибели. Так же как и другая нечистая сила, вампир появляется на дорогах, границах сел, в разрушенных монастырях и прочих нечистых местах.

Обычно считается, что вампир ходит и вредит людям ночью. На западе Украины, в Далмации и южной Сербии, где верования в вампира сплелись с представлениями о волколаке, полагают, что существует особый час, когда он, независимо от своей воли, должен наносить вред людям. Согласно болгарским верованиям, вампир не должен выходить из могилы в субботу, т. к. это день мертвых.

По общеславянским воззрениям, вампир вредит людям, скоту, хозяйству. Среди людей его нападениям подвержены прежде всего родные и знакомые, маленькие дети, молодожены, молодые люди брачного возраста, женщины, спящие люди. Он душит свою жертву или выпивает у нее кровь. Украинцы считали, что вампир поедает покойников. По мнению болгар, у людей, задуманных вампиром, на теле видны черные или синие пятна. Будучи невидимым, подкарауливает ночных путников. Кашубы верили, что вампир заманивает свою жертву светом горящей свечки, а сербы рассказывали, что он ходит по ночному селу с большим мечом в руке, убивая мужчин. Согласно карпатоукраинским, польским и кашубским поверьям, после смерти вампир может свести в могилу всю свою семью, укоротить жизнь родных, отнять у них здоровье. У поляков и кашубов считалось, что он убивает людей, звоня в колокол или выкрикивая имена: кто его услышит — умирает. Украинцы, сербы и болгары верили, что вампир бывает виновником стихийных бедствий, в том числе града, и эпидемий, особенно чумы. На Украине еще в XIX в. были известны случаи сожжения во время эпидемии людей, считавшихся упырями [7].

Украинцы и поляки считали, что вампир пугает людей, заставляет блуждать, заводит в непроходимые места. Увидевший его человек, онемевает. Степень зловредности вампира могла зависеть от его характера: если при

жизни он был злым человеком, то вредит всем своим знакомым, если спокойным, то только посещает родных, не делая им зла.

По южнославянским воззрениям, вампир обесчещивает девушек и сожительствует с женщинами, в том числе со своей вдовой. Часто это случается, когда человек умер на чужбине и вампиром приходит к себе домой. Сюжет многих сербских и болгарских быличек — вампир, у которого выросли кости, уезжает в другое село и женится на ничего не подозревающей женщине. Дети, рождающиеся от связи с вампиром, сами становятся вампирами или серб. *вампировићами*, т. е. людьми, способными видеть и убивать вампиров. Такие дети отличаются от обыкновенных тем, что не имеют тени (Крушевац); у них большая голова и нет костей.

В украинских и южнославянских поверьях вампир вредит домашним животным: пьет их кровь (особенно у молодняка), гоняет всю ночь лошадей и коров, подобно ведьме отбирает молоко у коров. Он разоряет хозяйство, уничтожая в нем прибыль: разбрасывает по дому вещи, путает нитки в ткацком станке, разливает воду. В украинских поверьях вампир часто связан с ведьмами: он бывает старшим над ними (р-н Харькова), возит ведьму на шабаш (Покутье). В Закарпатье верят, что кроме обычного «опира», существует другой, живущий в воде. Считают, что он затягивает людей в воду, заменяя отсутствующего в местных поверьях водяного (Иршавский р-н).

Поляки и сербы считали, что в редких случаях вампир может помогать людям по хозяйству, ухаживать за скотом.

Центральное место в поверьях о вампире занимают обереги и способы его обезвреживания: огонь, режущие и колющие предметы, предметы и растения — апотропеи, специальные заклинания и молитвы. Среди превентивных мер основным является строгое выполнение предписаний и запретов при похоронах: покойника ни днем, ни ночью не оставляют одного, поддерживают свет в доме, изгоняют животных, место, где он лежал, избегают переходить в течение трех дней и др. Кашубы полагали, что когда опасность превращения в вампира очевидна еще при рождении — т. е. когда ребенок родился «в сорочке», необходимо ее сжечь, а пепел дать выпить ребенку вместе с четверговой (т. е. освященной в Страстной четверг) водой. Чтобы предотвратить перевоплощение покойника в вампира, южные славяне и украинцы принимали следующие меры: у трупа протыкали иглой кожу, чтобы дьявол не мог ее надуть, рассекали труп на несколько частей и так хоронили: подрезали под коленками жилы, затыкали в пятки острые предметы, чтобы покойник не мог ходить. Клали на труп предметы-апотропеи: рыболовную сеть, кочергу, щипцы для угля и др. С этой же целью в Боснии и Герцеговине кладут на грудь землю, а в Македонии — под голову нож, в Хорватии свечным воском наносят на тело крест, в Сербии и Македонии бросают правый башмак покойного в реку. У карпатских украинцев и поляков гроб выносят через окно или через специально вырытый лаз под порогом, а в Сербии три раза касаются гробом порога, а на то место, где лежало тело, сыплют пшеницу и льют воду. У сербов и болгар предотвращает превращение в вампира «обжигание могилы» (болг. *опалването на гроба*), совершаемое перед восходом солнца женщинами на 2-й или 3-й день после похорон: могилу обкладывают соломой и зажигают. У восточных славян наиболее известным превентивным средством является обсыпание могилы самосейным маком или просом, а также сеяние мака по дороге от дома до кладбища во время похорон. Считается, что покойник не может вернуться в дом, не собрав всех зерен.

Если выясняется, что недавно умерший превратился в вампира, то на первый план выдвигаются индивидуальные обереги, а также охрана дома от его проникновения. В этом случае южные славяне считали необходимым

носить при себе чеснок, крестики из боярышника, трут, огниво и другие средства, отпугивающие вампиров. Вокруг дома создается магический круг из веток терновника, которые укрепляют в дверях, окнах, засовывают в замочную скважину, окуривают дом тимьяном и пр.

Вампира старались уничтожить, вбивая в его тело или могилу кол, осиновый — у восточных и западных славян или боярышниковый — у южных. У всех славян признавалось необходимым разрыть могилу, отрубить умершему голову и положить ее между ног лицом вниз; в других случаях труп выкапывали и сжигали или перезахоранивали на другое место, македонцы лили в отверстие, образовавшееся в могиле, кипяток. По южнославянским представлениям, вампиров убивали волки, собаки «четверо-глазки», у которых над глазами есть светлые пятна, гром, а также люди, умеющие видеть вампиров: рожденные во вторник, в субботу — болг. *суботнице*, дети, рожденные от вампира, а также те, кто имеет специальную траву и держит ее под языком. Вампир не может сам переходить реку, поэтому от него избавлялись, заманивая его на другой берег. Часто на могилу приглашали священника, знавшего молитвы против вампиров или заказывали литургию. Кашубы считали, что человека, заболевшего после встречи с вампиром, можно вылечить кровью вампира.

На первый взгляд изложенный материал может показаться слишком «пестрым», затрудняющим выделение общего пучка признаков, позволяющих говорить о тождественности мифологического персонажа на всем славянском ареале. В самом деле, на каком основании исследователь может отождествлять балканского вампира, карпатского «опыра» и русского «заложного» покойника и описывать их как нечто целое? Действительно, если традиционно брать за «единицу» изучения мифологический персонаж, то в целом набор признаков каждого из указанных демонических существ будет значительно различаться.

Пристальное изучение материала показывает, что существует общий реестр мифологических мотивов, фиксируемых у всех славян — мы сознательно отодвигаем сейчас в сторону очень важную проблему заимствований и влияний — но большинство из них реализуется в конкретных диалектных традициях с разной степенью актуальности. Используя фонологическую терминологию, можно сказать, что один и тот же мотив в одной диалектной зоне находится в «сильной» позиции, а в другой — в «слабой». Находясь в «сильной» позиции, он входит в число дифференциальных признаков, формирующих представление о персонаже, будучи в «слабой» позиции, он отходит на периферию круга мотивов, образующих данный персонаж и может легко «отщепляться», примыкая к другим мифологическим «пучкам». Реализация «сильных» и «слабых» позиций всех мифологических мотивов общеславянского реестра создает диалектную картину славянской мифологии. Попробуем показать это на небольшом фрагменте описанного в этой статье материала. На славянской территории существует общий набор мотивов, объясняющих превращение человека в вампира: неизжитость своего века, нарушение прагил похоронного обряда, судьба, нарушение норм поведения, личная греховность. Но актуальность, значимость, частотность каждого из таких мотивов для разных славянских ареалов различна. Основным мотивом, одинаково актуальным для всего славянского ареала, является преждевременная и неестественная смерть, означающая неизжитость своего века. Нарушение правил похоронного обряда как причина превращения покойника в вампира — мотив, присутствующий в верованиях всех славян. Но если для южных славян он является главным, наиболее частотным и актуальным, то у восточных славян, за исключением украинских Карпат, этот мотив значительно ослаблен и присутствует на периферии круга мотивов, из которых складывается представление о мифологическом

персонаже. Судьба, стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, но предопределяющих его «вампиризм» — наиболее значимый мотив карпатских верований, находящий соответствия у южных славян, но на восточнославянской территории он редуцирован почти до нуля. Нарушение формальных норм поведения — мотив, связывающий карпатский ареал и западных славян. И, наконец, личный грех, из-за которого покойника «земля не принимает», — один из наиболее частотных мотивов русских поверий о ходячем покойнике. Таким образом, можно заметить, что мотив преждевременной смерти является инвариантным и доминирующим, входящим в то ядро релевантных признаков, которое позволяет определять тождественность мифологического персонажа (в данном случае вампира) на всей славянской территории. Остальной набор признаков реализуется в верованиях с разной степенью актуальности, что дает сильную «пестроту» представлений о вампире у разных славян. Но эта «пестрота» свидетельствует не об отсутствии единства в славянской мифологии, а о диалектной реализации общего инварианта.

© 1993 г. ЛЕВКИЕВСКАЯ Е. Е.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. М., 1989. Т. 3. Ч. 2. С. 1239.
2. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. 4. С. 165.
3. Лукинова Т. Б. Лексика славянского язычества//Этимология. 1984. М., 1986. С. 123.
4. Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1973. Knj. 3. S. 636.
5. Fischer A. Upior, strzygoń, czy wieszczy//Lud. 1972. № 6.
6. Sychta B. Słownik gwar kaszubskich. Wrocław etc., 1973. Т. VI. S. 144.
7. Гнатюк В. Сожжение упырей в Нагуевичах//Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія. Київ, 1991.



ЧЕШСКАЯ НАУКА В КАНУН ПЕРЕЛОМА (2-й съезд чехословацких историков в 1947 году)

Февральский переворот 1948 г. в Чехословакии predetermined господство марксистской методологии в чешской и словацкой историографии в последующее тридцатилетие. Поступившие недавно в наше распоряжение документальные материалы о 2-м съезде чехословацких историков 1947 г. позволяют представить все многоцветие палитры чехословацкой историографии в условиях общественного плюрализма после 1945 г., уяснить те проблемы, которые предполагали решать ученые в ближайшей перспективе и методы их решения, проблемы, к которым они вернулись отчасти после ноябрьской «бархатной» революции 1989 г.

Второй съезд чехословацких (по существу чешских) историков состоялся 5—11 октября 1947 г. Он был организован Чехословацким историческим обществом (ЧСИО) и проведен на философском факультете Карлова Университета в Праге. Председателем общества был избран известный чешский медиевист, профессор Карлова Университета Карел Стлоукал (1887—1957). Съезд являлся довольно представительным. На его заседаниях присутствовали свыше 750 человек. Среди них: 211 учителей истории, 52 архивных работника, 13 музейных работников, 7 библиотекарей и, наконец, 45 профессоров университетов [1. 8 X. S. 4]. Именно профессора университетов (Пражского, Брненского, Оломоуцкого и др.), представлявшие разные течения в чешской исторической науке, играли ведущую роль в дискуссиях и определяли научную и общественно-политическую направленность съезда.

Из Словакии на съезд приехали 15 историков, но не как делегация, а по собственной инициативе. Все они так или иначе участвовали в дискуссиях, но официальными докладчиками были только двое. Корреспондент газеты «*Národní osvobození*» объяснил столь незначительное представительство словаков тем обстоятельством, что профессор В. Янкович, ответственный за организацию съезда со стороны Словацкого исторического общества, за неделю до его начала был арестован по подозрению в участии в «людацком» профашистском подполье и не успел провести необходимую подготовительную работу [1. 8 X. S. 4]. Думается, однако, что это были только внешние причины отказа словаков от широкого участия в работе съезда. Внутренние корни лежали в политических противоречиях чешской и словацкой сторон после нового объединения ЧСР в 1945 г., что отразилось и в стремлении к суверенизации словацкой исторической науки, организации самостоя-

тельного Словацкого исторического общества в 1946 г. Историк-марксист В. Гуса намекал на это обстоятельство в письме советскому историку А. Л. Сидорову, указывая, что съезд чехословацких историков даже пришлось отложить с мая на октябрь, так как «словаки отказались принять в нем в мае участие» [2. Л. 4].

Среди участников форума были представители разных течений в историографии. Профессора Карлова Университета, известные чешские историки В. Халоупецкий и К. Стлоукал возглавляли наиболее многочисленную группу ученых, последователей позитивистской школы Я. Голла. Историков-протестантов представляли профессора Ф. М. Бартош и О. Одложилек, католиков — доцент З. Калиста [3]. Идеи чешского национального демократического социализма защищал на съезде член национально-социалистической партии, последователь Э. Бенеша Губерт Рипка. С антикоммунистических позиций на съезде выступали инициативные чешские историки Ян Славик и Мирослав Вольф, бывшие приверженцы марксизма, но полностью разочаровавшиеся в нем, поняв сущность тоталитарного строя в СССР. И, наконец, небольшую группу историков-марксистов на съезде представляли член межвоенной «Исторической группы» [4] Ярослав Харват, философ Иржина Попелова-Отагалова, историк Милада Паулова, философ Людвик Свобода, член Исторического отделения Социалистической академии Рудольф Бек, а также президент Чешской академии наук и искусств Зденек Неядлы.

При довольно пестрой программе съезда в ней можно выделить главные проблемы, вызвавшие наибольший интерес у тогдашних чешских историков. Среди них: 1) пересмотр старых и выработка новых теоретико-методологических подходов в историографии, актуализация исторических исследований; 2) чешско-словацких отношения в прошлом и настоящем; 3) русская революция и славянство; 4) развитие чешского национального общества и чешской демократии; 5) положение Чехословакии между Востоком и Западом; 6) разоблачение фальсификации чешской истории со стороны немецкой нацистской историографии; 7) ревизия идейного наследия Й. Пекаржа; ценностные ориентиры в чешской историографии (Ф. Палацкий, Т. Г. Масарик и др.); 8) вопросы организации исторических исследований в стране, проблемы обучения истории и текущая политика [5. S. 246].

В виду необходимой краткости изложения, рассмотрим прежде всего те аспекты этих проблем, которые имели отношение к методологии, свидетельствовали о сходстве или различии исторических концепций представителей разных течений в чешской историографии того времени.

Следует отметить, что неудовлетворенность существующим положением в исторической науке, необходимость серьезных перемен в той или иной степени ощущались всеми участниками съезда. Многие были согласны с тем, что неизбежны изменения в тематике исследований в сторону поворота их к новой и новейшей истории. Сдержанную позицию в этом вопросе занимали только столпы официальной профессиональной науки К. Стлоукал и В. Халоупецкий. Но, например, О. Одложилек, ознакомившийся во время войны с состоянием английской и американской исторической науки, предлагал продолжить многотомное довоенное издание Ф. Лайхтера «Чешская история», доведя его до 1945 г., уделив этим частям труда особое внимание. Тесную связь исторической науки с проблемами текущей политики подчеркивали Я. Славик, Я. Верштадт, М. Вольф, а также многие учителя истории; особый упор на это делали историки-марксисты.

Поэтому перед участниками съезда естественно вставал вопрос, на каких исторических примерах и общественных идеалах должно воспитывать молодое поколение. Много говорилось об истории как средстве воспитания молодежи в философском и моральном (И. О. Доразил), эстетическом

(О. Фидрмуц), политическом и экономическом (Ф. Смирча, Л. Гурдик) отношениях. Большинство историков склонялись к мнению, что необходимо освободить преподавание истории от всех последствий фальсификации национальной истории во времена протектората; «уделять постоянное внимание воспитанию политических идеалов народной демократии» [6. S. 20]; исходя из этих идеалов учить молодежь логически мыслить и анализировать, понимая, что «история не ограничивается только жизнеописаниями полководцев и политиков, но имеет в виду также экономистов, техников и прогрессивных земледельцев. История нас убеждает в том, что хороший политик должен быть хорошим экономистом и наоборот» [6. S. 22].

Содержание понятия «чешская демократия» наиболее отчетливо выразил в своем докладе Г. Рипка. Он назвал главными чертами чешского демократизма следующие: «патриотизм, народность, социальный реформизм (стремление к постоянному совершенствованию человека и общества)». При этом он, как и все члены Национально-социалистической партии во главе с президентом Э. Бенешем, в отличие от коммунистов, призывал опираться на традиции Первой республики, идеалы Т. Г. Масарика, дополняя их «новым социальным творчеством» [6. S. 34], понимая социализм и демократию в неразрывном единстве.

Новый аспект в решении указанной проблемы выдвинул в своем романтически приподнятом выступлении «Октябрьская революция и славянство» З. Неядлы. (За право читать доклад на эту тему, по свидетельству В. Гусы, велась борьба с представителями «старой школы», выдвигавшими докладчиком Я. Славика [2. Л. 5].) Не отрицая положительных гуманистических идеалов историософии Т. Г. Масарика, З. Неядлы пытался соединить их с идеализированными представлениями о социализме, якобы воплощенными в жизнь после 1917 г. в великой «славянской» державе России — Советском Союзе. Если раньше, по его мнению, славянина на Западе считали человеком отсталым, то теперь «славянство в своих внутренне-политических режимах сделало значительный шаг вперед». «Старый строй, за который человечество заплатило двумя кровавыми войнами, будет заменен новым, при котором подобные катастрофы будут невозможны. Славянство уже встало на этот путь. Социализм хочет создать мир мира и мирного развития. Имперализм повергал человечество в пучину войн. Славянство с его традициями болгарских богомилов, чешских гуситов, польского мессианизма и гуманизма Масарика, выраженного в лозунге „Табор — наша программа“, указывает нам правильный путь» [1. 10 X. S. 4].

Выступление З. Неядлы вызвало живую полемику, в которой приняли участие Я. Славик, Й. Мацурек, Я. Харват, М. Паулова и др. Отметим пока один из аспектов дискуссии. Прежде всего в ней проявилось неоднозначное восприятие Советского Союза в глазах чешской общественности. Большинство признавали выдающуюся роль СССР в разгроме фашизма и освобождении Чехословакии. Но многие не питали иллюзий относительно существа государственного строя СССР и соответствия его идеалам «гуманного социализма». Глашатаем подобных взглядов на съезде выступал Я. Славик (1885—1978), автор многих работ по истории России и СССР, как руководитель Русского зарубежного архива хорошо знакомый с русской эмиграцией в Праге. Неприятие тоталитарного режима в СССР проявилось в критике Славиком основных догматов марксистского учения, поглотившего по его мнению, всю советскую историческую науку, не позволявшего ей свободно развиваться. В итоге он пришел к полному отрицанию марксизма. Славик указывал, что «в марксизме нелегко определить, кто действительно является марксистским историком, а кто нет. В Советском Союзе был историк М. Н. Покровский, провозглашенный корифеем исторического ма-

териализма. Через два года после его смерти (в 1932 г.— М. Д.) объявили, что Покровский ничего не понимал в историческом материализме и что его работы были ложными. Этот пример ясно показывает, что в марксизме нет теории, которая давала бы однозначное бесспорное его толкование» [1. 8. X. S. 4].

Более основательная критика положений марксизма с позиций философского дуализма и христианского гуманизма была предпринята накануне съезда католическим обществом «Мораван» в сборнике «Христианский реализм — диалектический материализм» (издатели — Д. Пецца, А. Павелка, Б. Худоба). Основываясь на «канонических» книгах «История ВКП(б). Краткий курс» (чешское издание 1945 г.) и «О диалектическом и историческом материализме» (М., 1938) авторы сборника упрекали марксистов в жестком противопоставлении материального и идеального, в признании скачка (революции) в качестве «единственного пути к высшим формам общества», в абстрагировании от нравственно-этических проблем «кровавых» революций, в жестком экономическом детерминизме. В то же время они отрицали представление об истории как о «бесконечном общем прогрессе» по восходящей прямой [7. S. 150, 152]. Будто сегодня написаны Б. Худобой такие строки о практике построения социализма в СССР: «Говорят о свободе трудящихся, а в действительности только заменяют одно рабство другим, вместо частного — государственным. Против частного гнета рабочих человек еще как-то мог защищаться, против государственного гнета — никакая законная защита невозможна... Такие представления, следовательно, являются ничем иным как поддержкой капиталистического взгляда на мир и на человека, хотя их приверженцы постоянно выступали и выступают против капитализма. Речь идет, таким образом, о волке в овечьей шкуре. И такое отступничество всегда горше, чем прямой и откровенный эгоизм» [7. S. 185—186].

На таком фоне ученые марксистской ориентации, Я. Харват и И. Попелова-Отагалова, в докладе «Историко-материалистическая трактовка истории» сделали попытку познакомить участников съезда с основными положениями марксистской методологии истории. Я. Харват объяснял слушателям, что следует различать марксизм как идеологию и как теорию науки. «Исторический материализм как историографический метод,— говорил он,—...складывается из трех частей: диалектического метода, взятого от Гегеля, экономического детерминизма и социально-прогрессивного гуманизма французских утопических реформаторов общества... Преимущество исторического материализма заключается в неразрывном единстве его частей, при котором экономический детерминизм препятствует схематизации диалектики, а диалектика — вульгаризации материализма» [6. S. 7—8]. Следуя советским канонам марксизма-ленинизма, Я. Харват был вынужден признать, что на практике историки-марксисты понимали «экономические факторы слишком односторонне, диалектику слишком топорно». С энтузиазмом неопита он предлагал свой рецепт «совершенствования» марксизма. «Единственно правильное понимание исторического материализма,— заключал он,— это рассматривать его как задачу, а не как догму. Эта задача состоит: 1) в ревизии всего того, чего до сих пор достиг исторический материализм в историографии; 2) в изучении развития, которое претерпел исторический материализм в исторической науке, особенно русской; 3) в реализации тех богатых идей, тематических и методологических потенций, которые заложены в историческом материализме, причем не только в критических и программных статьях, но и в исторических исследованиях, так как только конкретные работы могут служить доказательством правильности метода» [6. S. 7—8]. В своем докладе Я. Харват несомненно опирался на работы советских историков, учитывая и критику в адрес М. Н. Покровского,

обвиненного в догматизме, вульгарном социологизировании. Вероятно, решение задач, поставленных Я. Харватом, было бы полезно для всех начинающих марксистов, чтобы убедиться в правильности избранного пути. Но Февраль 1948 г. отсек все сомнения вместе с сомневающимися.

Нельзя также отрицать, что чехословацкие марксисты до того времени делали попытки творческого освоения марксистского наследия не на словах, а на деле. Так в содокладе философа И. Попеловой-Отагаловой была выражена смелая для своего времени мысль, что к марксизму надо подходить как к любому философскому учению исторически, не апологизируя его как единственно верную на все века философию, ибо он как и «любая философия находится в постоянном развитии и потому постоянно изменяется» [1. 8 X. S. 4].

Однако в глазах немарксистов сложилось прочное представление об догматическом характере марксистской теории. Обозреватель газеты «Národní osvobození», комментируя выступление Я. Харвата и других историков-марксистов, отметил, что сторонники марксизма, декларируя свою приверженность к диалектике на словах, «не показали ни на одном примере, как этот метод в полной мере был использован в исторической литературе». «В трактовке Харвата, — продолжал он, — диалектический метод приобретает скорее условный характер: исследуй *все причины*, при которых происходит изучаемое явление, и будешь мыслить марксистски. На практике это выглядит так — в марксистской литературе мы не найдем конструкций, которые бы отвечали гегелевскому пониманию диалектики. Можно найти только цепь причин, выстроенных в ряд по законам классической формальной логики, или сумму причин, которые обуславливают описываемое явление. Теория воплощается в диалектике в том виде, как ее формулировал Гегель. На практике этот метод не был реализован» [1. 8 X. S. 4].

Тем не менее выступления четырех историков-марксистов — Я. Харвата, И. Попеловой-Отагаловой, Л. Свободы, Р. Бека — в первый день съезда вызвали большой интерес среди его участников, тем более, что «многие профессора и учителя... до сих пор не были знакомы с содержанием категорий марксистского исторического материализма» [1. 8 X. S. 4].

Что же могли противопоставить марксистской теории в методологическом отношении историки «старой школы»? Какой бы то ни было единой историко-философской системы в Чехословакии в то время не существовало. Теоретические взгляды историков были достаточно эклектичны: преобладали разные модификации позитивизма и конфессиональных воззрений. Однако все чехословацкие профессиональные историки в совершенстве владели методами конкретно-исторических исследований, шли в русле развития мировой историографии и потому создавали интересные в концептуальном и фактологическом отношении труды по различным периодам отечественной и всеобщей истории. Нельзя отказать им и в трезвой оценке современного политического положения в стране.

Судя по материалам съезда, в то время чехословацких историков-немарксистов волновали не столько исторические, сколько нравственно-этические проблемы, связанные с психологией научного творчества. Эти вопросы были подняты в докладе Я. Славика «Историческая терминология» и некоторых других выступлениях в первый же день съезда. Враг всякого тоталитаризма, Я. Славик утверждал, что без свободы научного творчества «всякое совершенствование, любые научные планы будут напрасны, если наука не будет иметь ученых независимых, бесстрашных и свободных» [1. 8 X. S. 4]. В то же время он понимал определенную зависимость историка от условий своего времени, но обращал внимание прежде всего на индивидуально-личностные качества ученого, особенности его мышления и ха-

рактера. Все это не могло не сказываться на конкретных результатах исторических исследований. В целом же вопрос о свободе научного творчества Славик связывал не с политическими условиями конкретного общества, а с внутренним решением каждым историком индивидуально определенных психологоэтических задач.

Следует отметить, что методология позитивизма была подвергнута критике не только со стороны историков-марксистов, которые стремились дать свое представление об историческом процессе, но и со стороны, так сказать, славянских и чешских «патриотов». Их настроения выразил, подводя итоги съезда, публицист Йозеф Навратил, яркий пропагандист идеалов Национально-социалистической партии Чехии. Он объявил методы позитивизма «немецкими» и «сциентическими», мечтая о том времени, когда чешская наука освободится от них, вновь взяв на вооружение романтико-патриотическую концепцию Ф. Палацкого. (В этих настроениях можно усмотреть определенные аналогии с тогдашними взглядами З. Неядлы!) С этой точки зрения Й. Навратил признавал, что «школа Я. Голла была скорее путем упадка, чем прогресса для чешской науки» [1. 17 X. S. 4]. Примечательно, что в коммунистической прессе примерно в это же время, по примеру «патриотических» кампаний в СССР, школа Голла и позитивизм подверглись остракизму как проявления буржуазного объективизма и космополитизма [8. S. 73].

Если по вопросам методологии на съезде наблюдалось известное противостояние историков-марксистов и представителей разных направлений «старой школы», то по другим проблемам, касающихся пересмотра концепций национальной историографии и оценки творчества ведущих ее представителей, между ними можно найти многие точки соприкосновения, хотя сходные выводы не исключали разных исходных мотивов и подходов.

Так, те и другие безоговорочно выступали против националистических концепций немецкой фашистской историографии, принижавших значение чехов и вообще славянских народов в истории, фальсифицировавших исторические факты. В частности, археолог Ян Филип в докладе «О древнейшей истории страны» опровергал теорию «немецких лжеученых», которые «отыскали древних германцев уже в палеолите, и нордическую расу посадили на трон фараонов, послаив ее философствовать в Афинах» [1. 12 X. S. 4].

В этой же связи та и другая стороны осуждали консервативные аспекты исторической концепции Й. Пекаржа, скомпрометировавшего себя в глазах общественного мнения дружескими отношениями и перепиской с нацистскими историками Й. Пфицнером, Л. Франком и др. Поэтому попытка Я. Верштадта, кстати, бывшего узника Бухенвальда, в докладе «Идейное наследие Пекаржа через 10 лет после его смерти», объективно оценить его творчество успеха не имела. Между тем сегодня уже другими глазами можно взглянуть на многие аргументы ученого в защиту Пекаржа. Стремясь оправдать последнего от подозрений в сочувствии фашизму, Я. Верштадт приводит доказательства тому, что «дух творений Пекаржа ближе Масарику и Сопротивлению, чем нацистским властям Чехии», и что в противопоставлении «германофобства» Палацкого и «германофильства» Пекаржа виновата фашистская пропаганда. Я. Верштадт объяснил, что Пекарж как традиционалист и чешский патриот консервативного толка одинаково негативно относился как к фашистам, так и к русским большевикам и нашим демократам» [1. 14 X. S. 5], но в виду всеобщего отпора фашизму в чешском обществе считал своим долгом предупредить чехов и об опасности со стороны русского «социализма и большевизма» [6. S. 24] и потому всю критику направил против «новой России социалистической и коммунистической». Таким образом, по мнению Верштадта, Пекарж, наряду с Палацким и Масариком, был «носителем великих и благородных национальных тра-

дий», и среди его идейного наследия главное — «просвещенный и вечный национализм» [6. S. 25].

Однако на съезде доводы Верштадта об антифашистском характере патриотизма Пекаржа не были признаны убедительными. Тем не менее немарксистские историки с большим уважением относились к научному наследию Пекаржа, считая его «выдающимся представителем чехословацкой историографии», принимали выработанную им периодизацию истории Чешских земель по культурно-историческим эпохам, одобряли его стремление включить историю Чехии в общеевропейский исторический процесс. В то же время историки-марксисты в лице Яна Пахты и других отрицали что-либо положительное в идейном наследии И. Пекаржа и объявляли последнего «идеологом той части буржуазии, которая в конце концов докатилась до измены родине, пораженчества и коллаборационизма» [9. S. 5]. Впоследствии И. Пекарж был обвинен одновременно в «узколобом» национализме и «безродном» космополитизме [10].

Все чехословацкие историки высоко оценивали историческое творчество Ф. Палацкого и национальные идеи Т. Г. Масарика. Были переизданы их произведения. В газетах печатались статьи о патриотическом содержании их идейного наследия [11]. Примечательно, что в то время обе стороны заявляли о своей приверженности традициям национальной истории, выработанным Ф. Палацким и Т. Г. Масариком: немарксисты объявляли их борцами за воплощение национальных идеалов — чешского демократизма и свободолюбия; историки-марксисты относили их наследие в копилку тех прогрессивных национально-оптимистических идей, которые должны унаследовать новое общество [12]. В отношении Т. Г. Масарика съезд принял резолюцию (в выработке которой участвовали историки всех направлений), рекомендующую по случаю 100-летия президента-освободителя учреждать на философских факультетах университетов специальные кафедры по изучению вклада Т. Г. Масарика в национальное и славянское освобождение [1. 15 X. S. 4].

Через несколько лет президент-освободитель будет предан анафеме в марксистской историографии за свою якобы «антинародную и антинациональную политику» [13].

Мы не случайно обратили внимание на те вопросы историографии, по которым до 1948 г. историки всех направлений находили взаимопонимание. Этому несомненно способствовала общая атмосфера, царившая в кругах чешской интеллигенции после 1945 г. Победа СССР в борьбе с фашистской агрессией и освобождение Чехословакии Советской армией возбудили массу симпатий к России, СССР. Поэтому при решении вопроса об ориентации обновленной Чехословакии на Восток или на Запад компас общественного мнения при активном содействии коммунистов явно показывал на Восток. С этими настроениями был вынужден считаться и прозападнически настроенный президент ЧСР Э. Бенеш, не питавший особых иллюзий в отношении политической системы в СССР. Но тогда он выдвинул теорию об особой миссии Чехословакии как «моста между Востоком и Западом», которую на съезде развивал и защищал его сторонник Г. Рипка [1. 10 X. S. 4]. «Великой целью практической славянской политики в будущем, — писал Э. Бенеш, — будет и должно быть завоевание всеми славянскими народами и их культурами нового места в Европе и мире». При этом он рассчитывал, что СССР, поддерживая славянскую идею, будет уважать государственную самостоятельность и суверенитет славянских народов, не будет пытаться их «коммунизировать». По мнению Э. Бенеша, славянская идея должна оставаться государственной, а не партийной политикой, чтобы не позволить нынешней «левой советской славянской идее» превратиться в новый коммунистический «мессианизм» [14].

Иллюзии того, что Советский Союз поставит славянскую идею в центр своей внешней политики и проявит к ней долговременный интерес, разделяли и многие чехословацкие коммунисты, полагая, что, воплощая идеи гуманистического, истинно демократического социализма, СССР «создал реальные предпосылки для осуществления идеалов славянской взаимности, ибо его внешняя политика основывается не на империалистических завоеваниях, как политика царской России, а на принципах мира и братского сотрудничества народов».

На волне всеобщего сочувствия славянской идее было организовано несколько акций по всей Чехословакии. В частности, в декабре 1946 — феврале 1947 г. профессора Университета им. Т. Г. Масарика в Брно прочитали цикл лекций «Славянская идея в чешской национальной жизни» в Праге, Брно, Опаве [16]. Весной 1947 г., после завершения в декабре 1946 г. Славянского съезда в Белграде и в преддверии 100-летия первого Славянского съезда в Праге (1948), Славянский институт также организовал цикл подобных лекций, прочитанных его ведущими специалистами [17]. Много «славянских акций» было проведено и по линии Чехословацкого славянского комитета и Общества чехословацко-советской дружбы. В них деятельное участие принимал З. Нееды [15. S. 84, 94].

Отражением этих настроений в чешском обществе в известной мере стал доклад на съезде З. Нееды «Октябрьская революция и славянство». «Славянство,— заключал свое выступление З. Нееды,— после Октябрьской революции осознает свой исторический путь и свое значение, оно не будет больше довольствоваться задворками истории. Новые задачи в связи с этим встают перед историографией, перед новым поколением историков» [1. 10 X. S. 4]. И хотя не все историки, как уже говорилось, разделяли оптимизм Нееды в отношении новой России, настроения чешского и славянского патриотизма временно сгладили классовую непримиримость «буржуазных» и марксистских историков.

Еще одной точкой соприкосновения чешских историков разных направлений было установление тесных контактов со словацкой исторической наукой, причем на справедливых равноправных основах, в духе Кошицкой правительственной программы, принятой 5 апреля 1945 г. Об этом прямо было заявлено в общей резолюции съезда [1. 15 X. S 4]. Но были высказаны и другие взгляды.

Идеи чехословакизма отчетливо прозвучали в докладе В. Халоупецкого «Развитие связей и сосуществование чехов и словаков» [6. S. 25—27]. Докладчик стремился показать, как много значили разнообразные влияния на Словакию, которая никогда не имела самостоятельной истории, а постоянно была составной частью государств Моравского, Венгерского и Чешского. Он проанализировал основы словацкого этноса, показав его тесные связи с чехоморавским западом. Особое внимание В. Халоупецкий уделил оценке деятельности лидера словацкого национального движения Л. Штура, рассматривая его как «симпатичного патриота, который хотел служить своему народу, но делал ошибки в политике, так в канун 1848 г. не смог понять идей общественного прогресса, идущих от Французской революции. В своей деятельности он проявил себя как пораженец, ибо встал на службу Венгерскому государству, шляхте и реакции. А ввиду того, что в словацком обществе реакционные элементы всегда были сильнее, чем прогрессивные, то здесь и после 1918 г. возобладали те силы, которые стремились завоевать для Словакии определенную автономию в рамках ЧСР, чтобы таким образом гарантировать возможность вновь присоединиться к Венгрии. В то время судьба дала предпочтение идеям реакции, унгаризма, но мыслящие люди оставались верны идее чехословакизма... Идея чехословакизма является

идеей прогресса, а прогресс, как правило, побеждает реакцию» [1. 9 X. S. 5].

Разумеется, заявление В. Халоупецкого не могло не вызвать дискуссии. И хотя идея государственного единства чешского и словацкого народов (но не с жестких позиций чехословакизма) была поддержана во многих дальнейших выступлениях (А. Штефанека, Й. Боровички, Д. Леготской, Й. Мацурека, Й. Шебанека, В. Фиаловой и др.), большинство выступавших критически отнеслись к высокомерному заявлению В. Халоупецкого о том, что чехи всегда были носителями идей прогресса. Особенно резко и темпераментно выступил Я. Славик, который отверг аргументы Халоупецкого, оценивавшего «словацкое движение в защиту национальной самобытности как дело консервативного и реакционного словацкого общества, указывая на то, что подобным же способом русский царизм аргументировал свое негативное отношение к украинофильству» [1. 9 X. S. 5]. Молодой словацкий историк Дарина Леготска, хотя и была сторонницей идеи единой чехословацкой государственности, но опровергала тезис Халоупецкого, что стремление к самобытности можно расценивать «как коллаборационизм с врагом, и что Штур был политический пораженец и служил мадыарскому делу» [1. 9 X. S. 5].

В заключительный день съезда дискуссия по чешско-словацкому вопросу неожиданно вновь повернулась в сторону методологии. При обсуждении доклада К. Стлоукала, посвященного проблемам обучения учителей и методике преподавания истории в школе, докладчику был задан вопрос: «Может ли учитель истории в школе преподавать этот предмет вопреки главным идеям Кошицкой правительственной программы?» На что К. Стлоукал, ссылаясь на доклад В. Халоупецкого, ответил: «Наука часто приходит к другим выводам, чем политика. Мы не хотим протестовать против правительственной программы, но право на критику не уступим никакой Кошицкой программе» [1. 14 X. S. 5].

Однако тезис К. Стлоукала и В. Халоупецкого о ничем неограниченной свободе научного творчества и его полной независимости от политики не получил однозначной поддержки ни на съезде, ни в прессе. Историки коммунистической ориентации решительно отвергли эту идею с позиций представления о партийности науки и искусства [8. S. 44]. Они, как и демократически настроенные ученые, расценили ответ К. Стлоукала как покушение на основы демократического устройства страны: «Под маской научной свободы может скрываться пропаганда против идей, которые родились в ходе революции как общая национальная программа, названная по месту возникновения Кошицкой». Поэтому, на их взгляд, школьный учитель в своем преподавании истории безусловно должен руководствоваться идеями правительственной программы, ибо «демократия есть и свобода, и проповедь, и только в этом духе, духе новой демократии мы хотим и требуем воспитывать нашу молодежь» [1. 14 X. S. 5].

Таким образом, историки левой ориентации (коммунисты и демократы) в вопросе о свободе научного творчества сошлись во мнении, что полной независимости исторической науки от политики в обществе, даже демократическом, не существует. После 1948 г. этот вопрос по существу был снят, а все заявления о свободе науки расценивались как проявления буржуазного объективизма и отрицания принципа партийности в науке [8. S. 45].

Доклады и дискуссии на 2-м съезде чехословацких историков как нельзя более наглядно свидетельствовали о состоянии чешской исторической науки накануне февральских событий 1948 г. и о том месте, которое занимало в ней марксистское направление. По признанию комментаторов съезда и самих историков-марксистов, теория исторического материализма была не-

востью для большинства его участников. Несмотря на критику, большинство отнеслось к этой теории с доброжелательным интересом, а некоторые преподаватели средней школы высказывались даже за использование марксистской концепции при обучении истории в школе [9. S. 45]. Думается, что причины этого явления коренятся в том, что состав этого съезда был более левым, чем предыдущего, и иллюзии о возможности построения общества, где бы воплотились идеи гуманного социализма, были популярны в чешском обществе, впрочем, не столько благодаря стараниям коммунистов, сколько членов Национально-социалистической партии во главе с президентом Э. Бенешем. Сближали всех и патриотические идеи славянской солидарности, истинно чешского демократизма. Представителей «старой школы» в то время настораживали не столько сама марксистская теория, сколько ее конкретное догматическое толкование и непринятие опыта исторической науки в СССР.

В нашей литературе обычно подчеркивались непримиримые противоречия в подходах марксистских и немарксистских историков к общим и частным проблемам истории. На съезде это проявилось в минимальной степени в силу слабости марксистского направления в ЧСР и малого его представительства в докладах и дискуссиях. Молодые историки-марксисты еще не могли противопоставить ничего существенного в своих конкретно-исторических разработках исследованиям историков-профессионалов «старой школы», кроме общих положений исторического материализма. Потому общими усилиями историков всех направлений были выдвинуты задачи, которые предстояло решать исторической науке в ЧСР. Оценивая результаты съезда, протестантский историк Ф. М. Бартош писал: «Много вопросов, которые на прошлом съезде еще не могли быть поставлены, были подвергнуты анализу в плодотворной дискуссии, которая является солью любой науки. В ходе работы был высказан ряд здравых идей, особенно организационных, которые еще принесут обильную жатву, а между нами был укреплен дух сотруничества несмотря на все то, что нас разделяет во взглядах и принципах» [1. 14 X. S. 5].

Более непримиримо и критически оценивали результаты работы съезда историки-марксисты: «Съезд должен был стать не только обзором специальных исследований в исторической науке, но и указать, как наша историография относится к животрепещущим проблемам современности. Съезд показал, что часть официальных представителей чешской историографии свою миссию по отношению к народу не выполняет и наоборот, реакционно трактуя историю, вносит сумятицу и неопределенность в умы учителей истории и учащихся» [9. S. 44]. В. Гуса в письме А. Л. Сидорову также констатировал, что «к сожалению, значительная часть наших официальных историков остается при реакционном мнении» [2. Л. 7 об.].

Представляется, что в условиях демократического парламентского многопартийного государства, неприемлющего диктат какой-либо одной партии и возведения ее идеологии в ранг общегосударственной, как это случилось в СССР, в исторической науке ЧСР был шанс «мирной конвергенции» или хотя бы «мирного сосуществования» марксистской и позитивистской историографии, как это было во времена первой ЧСР. Вероятно, обоюдные «инъекции» были бы даже взаимополезны, так как многие ученые-позитивисты ощущали определенную неудовлетворенность в методах и традиционной тематике исследований, а молодые историки-марксисты остро нуждались в овладении профессиональным мастерством. В таком случае марксизм, как одно из многих направлений в историографии, занял бы подобающее ему в науке скромное место и не смог воспрепятствовать развитию чехословацкой историографии в русле мировой исторической науки. »

Однако случилось иначе. После Февраля 1948 г. марксистское направление было возведено в ранг государственной идеологии, исключая всякое инакомыслие, в том числе в науке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Národní osvobození. 1947.
2. OP PГБ. Ф. 632. Карт. 93. № 7.
3. Štáfl J. Problematika metodologie historiografie v českém dějepisectví po roce 1945 // Československý časopis historický. 1981.
4. Studie z obecných dějin. Sborník historických prací k sedmdesátým narozeninám prof. Jaroslava Charváta. Praha. 1975.
5. Husa V. K organizaci československých historických sjezdů // Sborník pro hospodářské a sociální dějiny. Praha, 1947. Sv. 3—4. S. 246.
6. Následn přednášek II sjezdu československých historiků, pořádaného Československou společností historickou ve 5--11. října 1947 v Praze. Praha, 1947.
7. Otázky dneska: Křesťanský realismus a dialektický materialismus. Brno, 1946.
8. Bock R. Diskuse pokračuje: k druhému sjezdu historiků // Nová mysl. 1947. № 4.
9. Prohlášení k sjezdu historiků // Nová mysl. 1947. № 4.
10. Pachta J. Pekař a pekařovství v českém dějepisectví. Brno, 1950; Proti kosmopolitismu ve výkladu našich národních dějin. Praha, 1953.
11. Navrátil J. Palackého idea národa českého // Kulturní politika. 1947. № 24. S. 9; Problem malého národa // Kulturní politika. № 30. S. 10.
12. Nejedlý Z. Komunisté, dediči velikých tradic českého národa. Praha. 1946; Nejedlý Z. Velké osobnosti. Výbor z díla. Praha. 1953. S. 200—234. (Русский перевод речи (18 II 1946) помещен в сб.: Зденек Неядлы — выдающийся общественный деятель и ученый. М., 1964.)
13. Pachta J. Pravda o T. G. Masaríkovi. Praha, 1953. S. 399; Документы об антинародной и антинациональной политике Масарика. М., 1954.
14. Dolanský J. Slovanství lidové a revoluční. Nad Benesovými Úvahami o slovanství // Kulturní politika. 1947. № 14. S. 4.
15. 1000 let. Kronika československo-ruských styků slovem a obrazem. Praha, 1947. S. 5.
16. Slovanství v českém národním zivote // Sborník úvah profesorů Masarykovy university, Brno, 1947. S. 249.
17. Obrysy slovanstva // Sborník přednášek Slovanského ústavu v Praze. Praha, 1948.



© 1993 г. ГОРИЗОНТОВ Л. Е.

«МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ» В ПОЛЬСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ НА РУБЕЖЕ 1940—1950-х годов И СОВЕТСКИЕ ИСТОРИКИ

Начальный этап послевоенных научных связей между историками ПНР и СССР не обойден вниманием исследователей [1]. За большим количеством публикаций в действительности, однако, скрыта слабая разработанность темы. Во многом это объяснялось отсутствием условий — как в СССР и Польше, так и на Западе — для свободного и непредвзятого анализа процессов, определявших взаимодействие польской и советской науки. Исследователи были, как правило, настроены на черно-белое восприятие и не стремились проникнуть в, казалось бы, известное а priori существо интересующих нас событий более чем сорокалетней давности.

После падения коммунистических режимов обличительный пафос лег в основу подавляющего большинства оценок историков. Однако потребность выяснить истину не позволила им остановиться. Не вызывавшие поначалу сочувствия призывы к взвешенности были поддержаны обстоятельными работами, наиболее характерной из которых по своей концептуальной новизне является статья американской исследовательницы Э. Валкенир [2].

По разным причинам долгое время оставались неиспользованными и многие источники, дающие представление о взаимодействии польской и советской историографий. Поэтому документальной основой предлагаемой реконструкции «методологического переворота» в польской науке на рубеже 40—50-х годов стали новые материалы, извлеченные из архива Института славяноведения и балканистики РАН, Архива РАН, Государственного Архива Российской Федерации, Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Считая важнейшей задачей введение в научный оборот этих материалов¹, мы позволили себе обильное цитирование источников. Поскольку среди последних преобладают направленные стенограммы вы-

Горизонтов Леонид Ефремович — научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

¹ Значительная их часть цитируется и комментируется Э. Валкенир, которой автор дал возможность ознакомиться с текстом данной статьи и сделанными в ходе ее подготовки архивными выписками. В суммарном виде они уже использовались в наших более ранних публикациях [3].

ступлений и дискуссий, черновые заметки и конспекты, неизбежны определенные стилистические шероховатости, с избытком, впрочем, окупаемые тем, что в руки историографа попадают такие оценки и суждения, которые вряд ли бы сохранились в предназначенном для публикации тексте. Сведения о начальном этапе советско-польского сотрудничества в области исторической науки, бесспорно, еще могут существенно пополняться. В частности, они должны содержаться в бумагах академика Б. Д. Грекова и некоторых других историков, чье рукописное наследие, к сожалению, не стало достоянием государственных архивохранилищ. Не менее важны архивные источники польского происхождения, часть которых уже получила известность благодаря публикациям П. Хюбнера и Р. Стобецкого [4], а также воспоминания участников событий (Т. Мантейфель, С. Кеневич, Х. Верещицкий, К. Гурский, М. Тырович, Ю. Бардах и др.) [5]. Заметим, что в статье у нас нет возможности коснуться дискуссий по различным аспектам концепции польской истории, легшей в основу многотомных обобщающих трудов ученых СССР и ПНР.

Для того, чтобы более понятным стало восприятие польской историографии советскими учеными в конце 40-х годов, следует хотя бы кратко сказать о том, какой она представлялась им на протяжении предшествующих полутора десятков лет. В 1933 г. польская историческая наука впервые сделалась объектом внимания ряда советских периодических изданий в связи с проходившим в Варшаве VII Международным конгрессом исторических наук, в работе которого приняла участие группа ученых из СССР (В. П. Волгин, Н. М. Лукин, А. М. Панкратова, Н. С. Державин, П. О. Горин и др.). «Весьма популярной на конгрессе, — писала А. М. Панкратова, — была версия о господствующих на нем трех основных идеологических направлениях: либеральном, националистическом и марксистском. К первому причисляли себя англичане, французы и поляки. По тематике и идеологической направленности докладов польские делегаты, однако, с большим основанием могли быть отнесены к националистическому направлению». Естественно, «единственным оплотом марксистского направления» явилась советская делегация. По наблюдениям А. М. Панкратовой и Н. М. Лукина, ее присутствие на конгрессе «несомненно способствовало выявлению... тяготеющих к марксизму элементов среди молодых польских ученых», «ищущей „исторической правды“ мелкобуржуазной интеллигенции». Лукин особо отмечал методологическую близость к советским ученым Н. Гонсеровской [6].

В 1934 г., рецензируя изданный к Варшавскому конгрессу обзор польской историографии, видный историк-коммунист Э. Пшибышевский² остро критиковал его составителей — Б. Дембиньского, О. Халецкого и М. Хандельсмана — за тенденциозное обеднение традиций польской исторической науки. «Ни Лимановский, ни другие представители польского социал-национализма, — отмечал он, — совершенно не упоминаются... Авторы совершенно обошли также своим вниманием и вопрос о влиянии марксизма на польскую историографию. Даже работы Р. Люксембург, Мархлевского и Крживицкого не отмечаются авторами ни единым словом» [7].

В 30-х — первой половине 40-х годов лишь два советских исследователя — В. И. Пичета (1878—1947) и М. В. Джервис (1899—1942) — профессионально владели проблематикой истории польской исторической науки. Однако один и тот же предмет под их пером получал весьма несхожее освещение. Отчасти это можно объяснить различными научными путями историков (старший из них сформировался до революции, младший принадлежал к

² Длительное время живший в Советском Союзе, политэмигрант Э. Пшибышевский (Ч. Ясиньский) стал жертвой репрессий.

советской формации), а еще более тем, что Джервис публиковал свои статьи в ведущих исторических журналах, тогда как объемистые историографические штудии Пичеты дошли до нас преимущественно в рукописном виде³.

Особенности двух подходов к изучению польской историографии ярко проявились, например, в оценках краковской школы и работ Я. Рутковского. С точки зрения Пичеты, краковская школа «представляет собой переломный момент в развитии исторической науки в Польше», поскольку она «выступила против спекулятивного метода... стоя на позициях философского позитивизма». Однако, борясь с эпигонами романтизма, М. Бобжинский не сумел объективно оценить ни научного значения лелевелевской школы, ни ее революционно-социальной направленности. «Между тем,— рассуждал Пичета,— значение каждого исследователя определяется его временем, социально-экономической и политической средой, а также и влиянием их на общество. Труды того или другого исследователя могут быть неудовлетворительными с точки зрения позитивного метода, но в то же время могут иметь первостепенное значение для современников, представляя собой неизбежный этап в развитии исторической науки на путях к позитивной науке» [8. Д. 363. Л. 220—221]. Таким образом, характеризуя различные этапы, пройденные польской историографией, В. И. Пичета прежде всего стремился руководствоваться принципом историзма.

В рамках концепции М. В. Джервиса краковская школа — почти исключительно объект суровой критики. Ее значение исследователь видел в том, что «польская историческая наука в основных своих ответвлениях обратилась на целых 50 лет, вплоть до империалистической войны, в идеологический рупор галицийских помещиков». По мысли Джервиса, польская историография 20—30-х годов слепо воспроизводила реакционные методологические и политические идеи краковских историков. Все их достижения объявлялись «данью формальным успехам исторических изучений на Западе», не более чем «научной „причесанностью“» [9].

Рецензируя работу Я. Рутковского о причинах разделов Речи Посполитой, В. И. Пичета отмечал прежде всего ее «объективность и научную точность». «Для русского историка,— писал он,— который бы занимался вопросами о разделах Польши, книга проф. Рутковского является ценнейшим пособием. Она вводит читателя в круг тех экономических представлений, о которых обычно историки разделов Польши не упоминают». Сравнивая методологический уровень трудов Рутковского и другого крупнейшего специалиста в области экономической истории, Ф. Буяка, ученый подчеркивал значительное превосходство первого из них, отметив, что «работа профессора Буяка, конечно, весьма далекая от марксизма, вызывает очень много возражений с методологической точки зрения» [8. Д. 396. Л. 3—4]. Примечательно, что приведенные оценки Пичеты находят подтверждение в монографическом исследовании Е. Топольского [10]. М. В. Джервис, также выделяя Рутковского из числа современных польских историков, выступал, однако, с позиций «искушенного в практике применения марксистского метода» советского ученого. По его мнению, Рутковский лишь предпринял попытку синтезировать в одной концепции взгляды различных научных школ. Результатом, выражаясь словами безапелляционного приговора Джервиса, явилась «насквозь эклектическая „историософия“ современного польского буржуа». «Эклектический метод проф. Рутковского,— заключал он,—

³ В архивном фонде академика Пичеты [8] хранятся рукописи таких его работ, как «Новейшая польская историография» (Д. 328), «Обзор польской исторической литературы за последние десять лет» (Д. 329), «Польская историография» (Д. 336), «Развитие польской исторической науки» (Д. 363) и др.

не привел и не мог привести его к раскрытию внутренней закономерности распада старой Польши» [11].

1939—1942 годы вместе с резкими перепадами в развитии международной ситуации принесли скачкообразные и не лишённые известной курьезности изменения в отношении советских историков к польской исторической науке. В год подписания «пакта Риббентроп — Молотов» увидела свет обширная статья М. В. Джервиса и У. А. Шустера «Германо-фашистские тенденции в современной польской историографии» [12]. В опубликованном в 1942 г. обзоре В. И. Пичеты и У. А. Шустера уже выражалась поддержка той полемики, которую польские исследователи вели с немецкими историками в межвоенный период [13].

Таким образом, в канун образования Народной Польши представления советских историков о польской исторической науке носили весьма противоречивый характер, большая часть имевшихся в печатном обороте сведений могла только дезориентировать читателя. Со смертью академика Пичеты советско-польское научное взаимодействие потеряло естественного организатора и лидера. Его обширнейшие познания в области польской историографии и умение адекватно оценивать то положительное, чем она располагала, весьма бы пригодились уже в конце 40-х годов. Увы, кончина ученого и несчастливая судьба его историографических трудов оставили эту возможность нерезализованной.

Наши наблюдения относительно исходного послевоенного уровня осведомленности советских ученых о польской исторической науке находят подтверждение в свидетельствах членов делегации, принявшей участие во Вроцлавском съезде польских историков в конце 1948 г. Круг лиц, входивших в состав советских делегаций на этот и последующие форумы, был чрезвычайно узок. Главная роль среди них принадлежала академикам Б. Д. Грекову и Е. А. Косминскому (в прошлом, кстати, выпускникам Варшавского университета), П. Н. Третьякову и А. Л. Сидорову. Разумеется, все они, хотя и в разной мере, несли на себе печать своего времени. Однако, помимо видного положения в научной иерархии тех лет, члены советских делегаций имели и несомненные научные заслуги. Вместе с тем даже с большой натяжкой названных историков нельзя считать профессиональными полонистами. Их исследовательский опыт накапливался в иных — правда, отчасти смежных — сферах: история России периода феодализма и империализма (Греков, Сидоров), славянская археология (Третьяков), западноевропейское средневековье (Косминский). Хотя, как отмечал в письме на имя М. А. Сулова Б. Д. Греков (октябрь 1950 г.), «для польских ученых интерес представляют работы советских ученых, посвященные не только истории Польши, но и всеобщей истории, и особенно истории СССР» [14. Л. 19], в делегациях 1948—1952 гг. ощущался острый дефицит специальных полонистических знаний.

«Перед тем как поехать в Польшу, — свидетельствовал П. Н. Третьяков, — мы, естественно, много думали о том, с чем нам придется встретиться. Мы волновались перед поездкой, ибо мы довольно мало знали о польской исторической науке (выделено нами. — Л. Г.) и даже то, что мы знали... заставляло нас в известной мере держаться настороженно... Польская историческая наука в прошлом была тесно связана с русской буржуазной историографией... После того, как образовалось Польское государство, польская историческая наука порвала с русской наукой и стала ориентироваться главным образом на Запад. Нам было известно, что в польской исторической науке сильны националистические тенденции... что польская историческая наука между первой и второй мировыми войнами имела ярко выраженный антинемецкий характер. Вот что мы представляли себе накануне съезда» [15. Л. 42].

На совместном заседании исторической секции Всесоюзного общества культурной связи с заграницей и научной секции Славянского комитета СССР, основываясь на своих впечатлениях от Вроцлавского съезда, Третьяков предложил своеобразную классификацию польских историков. На первом месте в ней находились «те, кто вошли в группу историков-марксистов и заявили о своем определенном и твердом желании участвовать в коренной перестройке польской исторической науки». «В эту группу,— отмечал советский ученый,— вошли как представители старшего поколения, так и представители молодежи... Основные кадры историков — старые историки — в эту группу не входят... Группа очень слаба не только в численном отношении, но и потому, что вошедшие туда представители старшего поколения стоят на позиции экономического материализма». В качестве наиболее характерных примеров «своего рода легального марксизма в исторической науке» Третьяков называл исследования С. Арнольда и Н. Гонсеровской, критикуя их за недооценку классово-борьбы. «Что касается представителей молодого поколения,— продолжал анализ член советской делегации,— то они еще молоды, не оформлены, более того, среди некоторых из них наблюдаются левацкие настроения и тенденции в отношении старых представителей» [15. Л. 48, 48а]. Последняя констатация П. Н. Третьякова особенно важна, поскольку «перевоспитание» старшего поколения молодыми «неофитами марксистско-ленинской науки» [16. Д. 94. Л. 26] в те годы нередко безоговорочно приветствовалось советскими учеными.

В адрес польских историков-марксистов в Москве звучала, впрочем, и куда более серьезная критика. Участница заседания Р. Кобринская видела их слабость в отсутствии собственных конкретно-исторических исследований: «Их выступления сводились к тому, что исторический материализм — хорошая вещь, и просим заинтересоваться историей материализма...⁴ Они стоят на позиции марксизма-ленинизма, но... не хотят работать, а молодым историкам нужна эрудиция» [15. Л. 66, 70]. Интересно отметить, что сходную мысль подчеркивали, согласно данным эмигрантской периодики, и сами польские ученые, называвшие Вроцлавский форум «съездом историков безземельных, малоземельных и середняков с минимальным участием кулаков» [17. S. 2]. Е. А. Косминский отмечал, что научная молодежь часто начинает «переходить к обобщениям раньше, чем овладеют материалом... полагают, что отсутствие источников можно заменить... дедуктивным методом из некоторых общих положений» [16. Д. 94, Л. 28].

Во вторую категорию польских историков П. Н. Третьяков включал тех, кто доброжелательно относится к Советскому Союзу и стремится учитывать в своей научной работе достижения советских коллег. Они, как правило, не считают себя марксистами, многого не понимая и не принимая в новой методологии исторических исследований. Таких ученых,— вспоминал Третьяков,— мы встречали не раз в Кракове и в Познани» [15. Л. 48а].

О существовании третьей «разновидности» польских историков члены делегации знали преимущественно с чужих слов. Это ученые, «которые выжидают, ушли в подполье, которые смотрят, что будет дальше». «Активности,— отмечал Третьяков,— эта группа в области науки в настоящее время не проявляет... Любопытно, что здесь, на съезде, реакционная точка зрения была представлена не польскими историками, а чешским историком Мацуриком»⁵. Вопреки ожиданиям Третьякова, националистические тенденции проявились во Вроцлаве достаточно слабо. Исключение составила дискуссия по проблематике русско-польских связей: «Стали выступать пред-

⁴ Так в машинописной стенограмме; последние два слова, видимо, следует читать «историческим материализмом».

⁵ Имеются в виду И. Мацурек и обсуждение проблематики революций 1848—1849 гг., ставшей одной из центральных в работе съезда.

ставители старшего поколения с большими листами бумаги и говорить, что они прослушали доклады с большим интересом, но что доклады можно дополнить многочисленными материалами, и начали перечислять, кто и когда в России что сделал и что все эти люди были польского происхождения. В итоге получалось так, что если что-либо в России хорошее было сделано, это было благодаря деятельности представителей польского народа». Опасность проникновения в польскую историографию националистических идей советские историки связывали с деятельностью познанского Западного института, видя в нем «твердыню буржуазной науки», рассадник концепций антропологической и этнологической школ. П. Н. Третьяков выражал обеспокоенность, что «заслуги прежней борьбы против немцев могут явиться... якорем, за который Институт будет держаться и не идти вперед». Таким образом, полемика польских историков с немецкими, сыграв «в известной мере положительную» роль в межвоенный период, во второй половине 40-х годов становилась источником своеобразной «инерции национальной пристрастности» [15. Л. 48а, 45, 47, 51, 42]; борьба за новое, классовое, освещение истории польско-немецких отношений занимала все более видное место в научной жизни послевоенной Польши. Приведенная оценка Западного института примечательна еще и тем, что в ней прослеживается попытка преодолеть выплеснувшиеся в науку эмоции, порожденные трагическими событиями военной поры.

Другим центром притяжения «реакционных ученых» назывался Краков. Молодой богемист И. И. Удальцов, также входивший в 1948 г. в состав советской делегации, сообщал, что сильная группа враждебных марксизму историков сложилась вокруг профессора В. Конопчиньского. «Конопчиньский,— информировал он,— пожилой человек, занимает позицию несомненно враждебную демократической Польше. Он, например, даже не явился на съезд польских историков, несмотря на то, что в программе значился его доклад, мотивируя в одном из частных писем тем, что „ему заранее известно, чем кончится этот съезд“. Эта фигура представляет собой центр, вокруг которого будут концентрироваться противники той борьбы, которую будет проводить группа историков-марксистов» [15. Л. 59].

Подводя общий итог своим впечатлениям от пребывания в Польше, П. Н. Третьяков заключал, что «съезд не только нацеливал польских историков на необходимость перелома, но... констатировал наличие некоторого приступа к перелому». С оценкой коллеги полностью солидаризировался А. Л. Сидоров [15. Л. 43, 56]. Оба ученых были склонны подчеркивать прежде всего новые веяния, обогатившиеся в польской историографии, отнюдь, впрочем, их не преувеличивая. Более наступательную позицию занял И. И. Удальцов, предсказавший «серьезную классовую борьбу в польской исторической науке». «Несомненно, имеется целый ряд течений,— утверждал он,— направление которых в конечном счете встает на две противоположные позиции» [15. Л. 60]. Однако самое воинственное выступление на совместном заседании секций ВОКС и Славянского комитета принадлежало Р. Кобринской⁶, побывавшей

⁶ Кобринская — псевдоним бывшего секретаря Брестского окружного комитета КПЗБ Регины Каплан, известной как одна из главных организаторов вооруженного выступления крестьян Кобринского повета в августе 1933 г. После нескольких лет заключения в польских тюрьмах Р. Каплан продолжила общественную деятельность в Советской Белоруссии, возглавляя, в частности, перед Великой Отечественной войной Белостокский обком МОПР. Надо полагать, что революционное прошлое Каплан-Кобринской делало ее положение весьма уязвимым. Как известно, Коммунистическая партия Польши, в состав которой входила КПЗБ, была в 1938 г. распущена Коминтерном. Даже после реабилитации КПП официальная версия августовских событий 1933 г. бросала тень на их вдохновителей. «В подготовке этого выступления,— читаем о Кобринском восстании в партийном журнале за 1957 г.,— были допущены ошибки, из-за которых оно не развернулось в массовое выступление крестьян на Полесье и было подавлено» [18].

на Вроцлавском форуме неофициально. В весьма резкой форме она осудила слишком благодушные, по ее мнению, прогнозы членов делегации. «У нас ученые не чувствуют ветра,— говорила она,— им кажется, зачем агитировать, поскольку все за ленинизм и марксизм. А если послушать, как буржуазия затемняет мысли народным массам, то встает вопрос о помощи... в разработке проблем польской исторической науки». Ее неблагоприятное состояние Кобринская прямо связала с последними событиями политической жизни Польши — так называемым «правонационалистическим уклоном» в ППР и оппозицией С. Миколайчика. Особенно же Кобринскую возмущало то, что на съезде «все споры были очень гладкими» и «можно было любезно сидеть рядом на двух стульях» [15. Л. 71, 68, 67].

Выступление Кобринской побудило присутствующую на заседании А. М. Панкратову перевести дискуссию в русло организационных выводов. «Я получила некоторое разочарование от сегодняшних докладов наших делегатов,— заключила она в своем кратком слове.— Мы не чувствовали из докладов того, что почувствовали из последнего выступления, которое дало ясную картину. У меня нет мнения, что делегация активно помогла... в работе съезда... Больших принципиальных методологических сдвигов среди польских историков не произошло». Панкратова настаивала на «действительном ускорении их методологического созревания», вспоминая, сколь долго преодолевалось «идеалистическое мировоззрение» в отечественной историографии [15. Л. 72—74].

Надо отдать должное главному докладчику от делегации — П. Н. Третьякову, который достаточно твердо отвечал на вплотную подошедшую к опасной черте критику в адрес ее членов. «Я хотел бы,— говорил он,— несколько возразить т. Кобринской и поддержавшей ее Панкратовой в отношении нашей оценки. Здесь они грешат против марксизма... Мы имеем страну народной демократии, в отношении социализма которая делает первые шаги... Я думаю, было бы неправильно к польским историкам предъявлять очень большие требования. При беседах с польскими историками мы заметили, что ряд вопросов, нас волнующих, до них не доходит. Таким образом, дел еще много. Но я думаю, что наша положительная оценка является в данных условиях правильной. Речь идет об определенной стране, об определенных условиях, об определенной науке» [15. Л. 77].

Разумеется, было бы неверным абсолютно противопоставлять друг другу участников этой стихийно возникшей полемики. Обе спорящие стороны искренне стремились к полной марксизации польской исторической науки. Можно обнаружить и общие черты в понимании ими марксизма, хотя не секрет, что А. М. Панкратова даже на общем фоне советской историографии 40-х годов выделялась своей непоколебимой ортодоксальностью. Когда П. Н. Третьяков упоминал вопросы, «не доходящие» до польских историков, в последнюю очередь он имел в виду их слабую информированность о погромной сессии ВАСХНИЛ, уроки которой должны были в обязательном порядке учитывать не только биологи, но и представители всех других научных специальностей [15. Л. 49]⁷. Тем не менее нельзя не видеть двух оценок состояния польской исторической науки и двух отличных подходов к ее преобразованию.

На исходе 1948 г., когда в Москве состоялось столь знаменательное для нашей темы заседание, будущее польской историографии оставалось еще во многом неясным. Последующая сталинизация общественно-политической

⁷ О методах руководства наукой того времени можно судить по наказу Президиума АН СССР делегации советских ученых на Вроцлавский съезд. Одобренные ЦК ВКБ(б) предписания поражают банальностью, боязнью каких-либо инцидентов, а также своим полным совпадением с текстом наказа, данного советским делегатам ... на съезд польских математиков [19].

жизни ПНР не могла не коснуться науки этой страны. 1949—1951 гг., вне всякого сомнения, явились самым драматическим периодом в послевоенной истории польской исторической науки, хотя и тогда гонения на ученых не принимали тех жестких форм, в которых они известны в СССР и ряде стран «народной демократии».

Готовя в 1950 г. рабочую встречу с коллегами из ПНР, Институт славяноведения АН СССР запрашивал сведения о польских историках, с которыми предполагалось завязать сотрудничество, у Славянского комитета СССР, а тот, в свою очередь, получал необходимую информацию из аппарата ЦК ПОРП. Известно, что рассылке приглашений на совещание предшествовала встреча заведующего московским отделением Польского агентства печати С. Ковальского-Натансона с членом политбюро ЦК ПОРП Я. Берманом. Результатом консультаций и согласований явились так называемые «научно-политические характеристики» польских историков, определившие круг приглашенных в Москву лиц. Характеристики 1950 г., сохранившие прежде всего ответ на вопрос о прогрессивности либо реакционности того или иного ученого, четко подразделяются на три основные группы.

Первую составили данные о партийных историках, сводившиеся обычно к перечислению занимаемых ими должностей. Принадлежность к правящей партии, руководящая роль в Обществе польских историков-марксистов, а нередко и значительные государственно-административные посты, видимо, делали излишними, с точки зрения составителей характеристик, какие-либо оценочные суждения. Лишь Н. Гонсеровская была аттестована как «выдающийся историк-экономист». Именно представители этого круга долгое время будут занимать ведущее место в советско-польском научном сотрудничестве [14. Л. 2, 2об., 5, 10].

Во вторую группу вошли характеристики тех беспартийных историков (Т. Мантейфель, Г. Лябуда, В. Куля), от которых ожидалось скорое сближение с марксистами. Эти формулировки заслуживают того, чтобы быть приведенными полностью.

«Мантейфель Тадеуш — профессор Варшавского университета, председатель Польского исторического общества, стоял до сих пор на буржуазно-идеалистических позициях⁸. Считают его честным человеком, который стремится идти с народом. Специальность — общая история средних веков.

Лябуда Герард — беспартийный, из крестьян, доцент Познанского университета, автор ряда трудов по древнейшей истории славян и образованию Древнепольского государства.

Куля Витольд — беспартийный, профессор Варшавского университета, еще не порвал целиком с буржуазной западноевропейской наукой»⁹.

«Относительно... перечисленных лиц, в особенности Куля, — гласил общий комментарий, — товарищи считают, что, хотя они еще далеки от марксистского подхода к истории, однако, стоит их пригласить, исходя из того, что участие в совещании в Москве может весьма благотворно повлиять на их дальнейшее развитие» [14. Л. 7, 10об.]. Как следует из опубликованных материалов двусторонней встречи, никто из этих историков в ней участия не принимал.

Научно-политические досье ученых, отнесенные нами к третьей группе, особенно лаконичны. В них идет речь о тех, кто, вопреки пожеланиям полонистов Института славяноведения, были категорически исключены из списка приглашенных в Москву. «Профессора Домбровского, — передавал Ковальский-Натансон мнение польских инстанций, — нельзя пригласить, так как он является последовательным агентом Ватикана, в особенности кардинала Сапегги, профессора Войцеховского Сигизмунда тоже не стоит

⁸ В другой редакции: «буржуазный историк, стремится овладеть марксизмом-ленинизмом».

⁹ Отмечалось также, что у Лябуды есть «ряд ценных трудов», а Куля — «способный» [14. Л. 10об].

приглашать, так как он стоит на националистических позициях, не подходит также кандидатура профессора Костржевского, относительно которого нет никаких надежд, что он сойдет со своих буржуазных позиций, профессор Ветуляни, который фигурировал в списке,— отъявленный реакционер, профессор Кеневич, хотя и выступил с некоторыми интересными трудами, имеет какие-то связи с реакционными католическими кругами» [14. Л. 10об.— 11].

Нет необходимости доказывать вред политической селекции ученых, произведенной административным порядком в 1950 г. Советские полонисты получили возможность общаться лишь с очень ограниченным кругом польских коллег, в число которых не вошли многие крупные специалисты как старшего, так и среднего поколений, чьи консультации имели бы большую ценность для авторского коллектива, приступившего к работе над многотомной «Историей Польши». Обременительным было и само посредничество Славянского комитета. Не случайно в письме на имя секретаря ЦК ВКП(б) М. А. Суслова высказывалось следующее пожелание: «Связь с польскими историками должна идти не через Славянский комитет, а установленным порядком, через Иностраный отдел Президиума АН СССР» [14. Л. 18].

Научно-политические характеристики, производимые в партийно-государственных сферах ПНР и СССР, явились существенным фактором, формиравшим отношение советских историков к польской историографии и ее отдельным представителям. Другой детерминантой была информация, поступавшая к советским ученым от польских марксистов. Не всегда просто установить точный источник и даже направление заимствования, поскольку эта часть польских историков, очень внимательно следя за происходящим в советской науке, вполне могла пользоваться уже сложившимися в последней историографическими схемами. До конца не ясен, например, генезис сформулированной в 1952 г. Е. А. Косминским концепции развития польской историографии. Основные ее положения, бесспорно, были известны академику еще до его контактов с поляками. Сошлемся хотя бы на стенограмму проходившего под председательством Косминского совместного заседания сектора средних веков Института истории АН СССР и кафедр средних веков Московского университета (март 1949 г.), на котором со сходными взглядами, правда без учета польского материала, выступил М. А. Алпатов¹⁰. Вскоре в «Кратких сообщениях Института славяноведения» было опубликовано выступление Ж. Кормановой, содержавшее пространные рассуждения о судьбах польской исторической науки [20. С. 14—19]. В начале 1952 г. Косминский принял участие в Отвоцкой методологической конференции с ее «бесчисленными историографическими экскурсами» [16. Д. 94. Л. 30].

Значение изложенной Косминским схемы заключалось в том, что она содержала четкие ориентиры для оценки всего предшествующего историографического процесса, давала представление о соотношении польской, русской (советской) и западной исторической науки на разных этапах их развития. «В развитии польской историографии есть некоторые моменты, которые роднят ее с русской историографией»,— отмечал Е. А. Косминский. До 1905 г. обе они «в основном» носили прогрессивный характер¹¹. «1905 г.,— писал Косминский,— так же как для русской историографии и для русского либерализма, был и для польской историографии сигналом к повороту к реакции¹², а особенно реакционным был период между двумя войнами... В то время, когда историческая наука на Западе резко повернула в сторону

¹⁰ Со стенограммой упомянутого заседания любезно ознакомил нас А. Н. Горяинов, в распоряжении которого она находится.

¹¹ Хотя, как подчеркивал Б. Д. Греков, польская историография, служа делу национального возрождения, «носила главным образом характер политический, имела определенную установку и, конечно, в научном отношении значительно грешила» [16. Д. 94. Л. 2—3].

¹² Косминский ссылаясь на идейно-научную эволюцию Т. Корзона и Ш. Аскенази [21. Д. 12. Л. 37—38].

реакции, у нас произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, которая повернула русло исторической науки в другую сторону. Реакционные идеи Запада проникали и к нам, но как некоторые отголоски... и они сразу же встречали резкий отпор... А в Польше было совсем другое положение. Польша... между двумя войнами была как раз тем полем, на котором широко разрослись... реакционные империалистические учения Запада, еще подправленные шовинизмом и пилсудчиной. Эти учения жили, развивались в течение долгого времени...» [16. Д. 94. Л. 30, 31]. Правда, даже в межвоенный период в польской исторической науке работали исследователи, придерживавшиеся прогрессивных взглядов: «Несколько буржуазных ученых и в это время старались удержать историческую науку хотя бы на позициях буржуазного позитивизма». В этом контексте советским гостям Отвоцка не раз довелось слышать имена Я. Рутковского и М. Хандельсмана. «Но не с ними,— делает чрезвычайно знаменательное наблюдение Косминский,— хочет связать себя польская историческая наука, так же как и наша наука [она] устанавливает связь с революционными демократами в прошлом..., характерно... стремление искать революционные традиции в польской историографии» [21. Д. 12. Л. 38; 16. Д. 94. Л. 32—33].

Нет ничего удивительного в том, что Косминский не упоминает деятелей польского социал-демократического и коммунистического движений, которые первыми пытались освещать национальную историю в соответствии с требованиями исторического материализма. «Эти попытки,— утверждала на московском совещании 1950 г. Ж. Корманова,— не могли дать удовлетворительных результатов, имея своим исходным пунктом фальшивые концепции люксембургизма или не будучи свободными от влияния социал-реформизма» [20. С. 17]. Исторические исследования деятелей революционной СДКПиЛ, таким образом, при ближайшем рассмотрении оказывались «неудовлетворительными», еще меньшим кредитом доверия пользовались историки довоенной ППС, несмотря на объединение польских рабочих партий в 1948 г. В канун образования ПОРП А. Л. Сидоров особо выделял «значительную группу историков ... ППСовского толка», различающуюся «по методике и разработке проблем» [15. Л. 56]. Над историками, связанными с КПП, продолжал довлеть 1938 год. Историческая мысль Коммунистической партии Польши, включенная после войны в число революционных научных традиций, до середины 50-х годов оставалась практически анонимной и была, надо признать, достаточно абстрактной величиной. Невольно вспоминается упрек Э. Пшибышевского в адрес Дембиньского, Хандельсмана и Халецкого, прозвучавший со страниц советской печати почти за двадцать лет до описываемых событий. В результате (парадоксальный факт!) одной из очень немногих «политически благонадежных» историографических традиций стал работавший в первой половине XIX в. И. Лелевель, в котором виделся историк революционно-демократического направления.

В Отвоцке советские историки, вне всякого сомнения, восприняли многие оценки отдельных польских ученых. Так, вслед за выступавшими на методологической конференции, Е. А. Косминский называл книгу Х. Верещицкого¹³ «нагромождением ошибочных тезисов», Я. Рутковскому инкриминировал неправильное применение статистического метода и отход «от основных требований строго марксистской методологии»¹⁴, а услышанное о В. Конопчинском резюмировал в своей записи следующим образом: «Конопчинский — *bête noire*»¹⁵ [16. Д. 94. Л. 31—32; 21. Д. 11. Л. 8].

¹³ В стенограмме фамилия зафиксирована неправильно: Бережицкий.

¹⁴ Ср. мнение Б. Д. Грекова: «Человек он вполне прогрессивный, по крайней мере так о нем отзывались польские ученые» [15. Л. 86].

¹⁵ Жупел (франц.).

Определенные разногласия вызвала общая оценка итогов Отвоцкой конференции. Б. Д. Греков констатировал глубокое усвоение марксизма-ленинизма польскими коллегами, подчеркивал активное участие в обновлении исторической науки представителей всех поколений. «Они уже владеют марксистско-ленинской теорией, — говорил Греков, — и стараются применить ее во всех своих исследованиях». О своем несогласии с «радужной оценкой» академика заявил П. Н. Третьяков. Интересно, что ученый, три года назад подвергавшийся нападкам за излишний оптимизм, теперь сам выступил в роли скептика. Впрочем, как и раньше, он находил темпы происходящих перемен нормальными, а достигнутый уровень естественным. Присутствовавший в конце июня — начале июля 1951 г. на заседаниях исторической секции 1-го Конгресса польской науки Третьяков относил к негативным явлениям совершенно заслуженную критику доклада Ж. Кормановой, которая, с точки зрения советских историков, «всегда стояла на позициях марксизма-ленинизма» [16. Д. 94. Л. 14], вновь говорил о «реакционной оппозиции» Западного института и «реакционных силах» среди краковских историков. «В польской исторической науке, — указывал Третьяков, — еще не все обстоит совершенно гладко, и, наряду с ростом тех историков, которые стремятся перестроиться, стремятся идти по пути марксизма-ленинизма, существует еще, вероятно, значительная группа историков, которые не перестраиваются, иногда выступают против, чаще же очевидно не выступают, не приезжают на съезд польских историков под тем или иным предлогом». Ошибочные воззрения польских коллег, согласно Третьякову, особенно давали о себе знать «в кулуарных разговорах» [16. Д. 94. Л. 55, 60]. В начале 1951 г. предостерегал «рассматривать польскую историческую науку в целом как марксистскую, а всех польских историков как ставших на марксистские позиции» и И. С. Миллер [16. Д. 68. Л. 3—4].

Несмотря на определенные оценочные нюансы, после Отвоцка никто из советских экспертов уже не сомневался в направлении развития исторической науки Польши. Сравнивая ее эволюцию с состоянием чехословацкой и болгарской историографий, Б. Д. Греков и П. Н. Третьяков приходили к выводу о лидерстве польских ученых. «Из всех стран народной демократии, — свидетельствовал Третьяков, — наши польские товарищи достигли наибольших успехов». «Все-таки в Польше историческая наука стоит значительно выше, — отмечал Греков. — Что касается методологии, то она, вероятно, и здесь, и там одинаково проникла и в среду молодых историков, и в среду более взрослых научных работников, но количественно... Польша стоит впереди» [16. Д. 94. Л. 56, 18].

В начале 50-х годов советские историки, причем не только слависты, продолжали испытывать острую потребность в информации о польской исторической науке. Однако вполне понятный интерес профессиональной аудитории удовлетворялся в очень незначительной мере. Параллельно с подготовкой обобщающих трудов по истории Польши в СССР не велось серьезной научной систематизации материала о ее национальной историографии. На этот пробел, в частности, обратил внимание рецензент изданных в 1952 г. «Очерков истории Польши» А. Я. Манусевича. «Поскольку „Очерки“ являются первой попыткой систематического изложения польской истории на основе марксистско-ленинского учения, — писал К. Николаев, — уместно было бы привести замечания историографического порядка (в виде отдельного краткого очерка или по ходу изложения)» [22]. Оценив все плюсы и минусы подобного замысла, после некоторых колебаний отказался от историографических разделов и коллектив академического многотомника по истории Польши [16, Д. 68. Л. 7]. Вслед за устными, реже печатными, сообщениями советских делегаций наступил период, когда едва ли не

основным каналом сведений о развитии исторической науки соседней страны стали переводные обзоры польских авторов.

Анализ представлений польских ученых о советской науке рассматриваемого периода не является непосредственной задачей настоящей работы. Однако, коль скоро речь идет о контактах и взаимодействии историков двух стран, полное игнорирование этой темы нанесло бы ущерб общей картине.

Еще в 1930 г. один из наиболее авторитетных польских историков, М. Хандельсман, предупреждал коллег, собравшихся на свой очередной национальный съезд, о «методологической опасности с Востока». Он решительно осудил гонения на «буржуазный объективизм», развернутые советскими марксистами, которые, «вопреки всем источникам и здравому смыслу», предлагали видеть в истории исключительно арену классово-борьбы [23]. В то время лишь очень немногие польские историки леворадикальных убеждений смотрели на научную жизнь СССР не со страхом, а с желанием обогатить собственный исследовательский опыт.

Сразу же после окончания войны в Европе на праздновании юбилея АН СССР в Москве побывала делегация польских ученых, в состав которой наряду с историком С. Кутшебой входил крупный философ, впоследствии президент ПАН Т. Котарбинский. Знакомство с состоянием общественных наук в Советском Союзе отнюдь не вызвало у шестидесятилетнего философа мыслей о двустороннем сотрудничестве, найдя отражение в ряде жестких, но достаточно объективных оценок, лишь совсем недавно ставших достоянием широкого круга читателей. «Катехизис, над которым люди науки смеются в усы так же, как у нас здравомыслящие люди смеются над римско-католическим катехизисом, — писал Котарбинский об официальной философии сталинского государства. — Вопрос звучит не „как на самом деле?“, а „что соответствует принципам марксизма?“ Только в пределах этих рамок можно себе позволить роскошь объективизма. Атмосфера невыносимого лицемерия. Вершиной порядочности здесь говорится лишь половину правды и тоном голоса давать понять, что там, может быть, еще что-то осталось. Брррр!» [24].

О том, что «варварская» советская историография встречала неприятие со стороны многих польских ученых, красноречиво свидетельствуют «Чары» В. Кули (1947—1951) — произведение, в котором автор в метафоричной литературной форме попытался осмыслить происходящие в науке перемены [25]. Не будем забывать, однако, что главным героем «Чар» является не историк-скептик, а историк-энтузиаст, горячо сочувствующий коренным общественным преобразованиям, стремящийся участвовать в создании новой науки и принимающий, несмотря на мучительные сомнения, ее тоталитарный характер. Понятно, что не считаться в наших рассуждениях с существованием на рубеже 40—50-х годов такого типа эволюции едва ли допустимо. Тяготевшие к нему польские историки придавали большое значение изучению советского опыта марксистских исследований. Наконец, в Польше имелись силы, рассчитывавшие использовать советскую науку и представлявших ее историков в качестве орудия погрома научных кадров и достижения собственных амбициозных целей. Сказанное о разном отношении к советской историографии, вовсе не претендуя на исчерпывающую полноту, показывает, что приезд в Польшу ученых из СССР решительно никого не мог оставить равнодушным, хотя мотивы повышенного интереса к ним существенно различались.

Наши материалы довольно скудны сведениями о советском участии во Вроцлавском съезде 1948 г. «Должен сказать, — вспоминал П. Н. Третьяков три с половиной года спустя, — что мы, советские делегаты, на этом съезде чувствовали себя достаточно неловко. Мы чувствовали, что находимся в

затруднительном положении, потому что не могли же мы, гости, первые советские историки, приехавшие в Польшу, выступать против чуть не каждого докладчика...¹⁶. Мы не знали, как нам быть. Мы не могли подняться на трибуну и сказать: товарищи, бога нет! А в конце концов именно перед таким вопросом мы и стояли». Посовещавшись, ученые из Советского Союза приняли решение ограничиться поддержкой «тезиса о том, что историки должны заниматься прежде всего тем, что объединяет польский и русский народ», а также «выступать на тему борьбы с космополитизмом, с европоцентризмом, со всякого рода западничеством» [16. Д. 94. Л. 47—49]. Члены советской делегации, таким образом, были полны решимости перенести на польскую почву пресловутую кампанию борьбы с космополитизмом, которая, причудливо переплетаясь с гонениями на «буржуазный национализм», бушевала тогда в идейно-научной жизни СССР.

Вместе с тем, как мы уже знаем, они достаточно скептически оценивали научный уровень многих выступлений польских марксистов. «Когда обсуждался вопрос об истории рабочего класса в Польше, то вспоминались рабочие соляных копей XII века и имелась тенденция рассматривать их как польский пролетариат. Здесь очень много примитивного, некоторое непонимание ряда элементарных вещей чувствовалось», — рассказывал П. Н. Третьяков о секции новой и новейшей истории [15. Л. 45]. По словам А. Л. Сидорова, выступавший по проблематике польского социалистического движения «сделал так доклад, как у нас мог сделать любой студент 3—4 курса». «На... недостатки его доклада, — продолжал Сидоров, — было указано профессором Кормановой, очень образованной женщиной, которая, однако, сдрейфила, и свой доклад, который посвящен тоже социалистическому движению в Польше, не сумела сделать» [15. Л. 55]. Интересно соотнести эти данные с освещением Вроцлавского съезда в таком открыто враждебном Советскому Союзу и новой Польше издании, как эмигрантский журнал «Teki historyczne». Орган Польского исторического общества в Великобритании с нескрываемым удовлетворением сообщал о критических замечаниях «ревизора марксистской правдивости» Сидорова в адрес марксистов Ц. Бобиньской и Н. Гонсеровской. Критика «методиста с Востока», информировал журнал, произвела на Ж. Корманову такое сильное впечатление, что «она хотела отказаться от своего доклада» [17. S. 3—4]. Иными словами, уже на первом послевоенном съезде польских историков советские ученые заняли достаточно критическую позицию и не стали «подыгрывать» тем выступавшим, кто декларировал свою приверженность марксистской методологии.

Гораздо основательнее можно судить о советском вкладе в отвоцкие прения рубежа 1951—1952 гг. Два доклада ученых из СССР раскрывали значение для исторической науки только что увидевшей свет работы Сталина по вопросам языкознания. Покончив с марризмом и тем самым дав советскому языкознанию возможность выйти из кризисного состояния, выступление Сталина не было свободно от проявлений лингвистического невежества, а это, в свою очередь, создавало новые препятствия для возрождения данной научной дисциплины. Вероятно, повсеместное освоение опыта борьбы на «лингвистическом фронте» принесло пользу отнюдь не всем наукам. Надо, однако, признать, что историкам теоретические «откровения» 1950 г. даровали большую, нежели прежде, степень свободы. Сталин способствовал восстановлению в правах положения об активной роли надстройки по отношению к базису. Борьба с марризмом была воспринята советскими историками как продолжение линии, начатой осуждением «покровщины». Здесь нет необходимости углубляться в оценку научного творчества М. Н. Покровского.

¹⁶ Данный посланцам советской науки наказ Президиума АН СССР предписывал «соблюдать надлежащий такт и корректность».

К началу 50-х годов «покровщина» сделалась уже достаточно абстрактным обозначением вульгаризации, упрощенчества, схематизма, доводящих низм марксистской методологии до абсурдной крайности. Именно эта сторона сталинской критики марризма всячески пропагандировалась членами советской делегации в Отвоцке.

Не только опубликованные материалы конференции, но и многочисленные свидетельства очевидцев говорят о конструктивной позиции советских историков, значительно облегчившей преодоление догматических тенденций Отвоцкого форума. Не последнюю роль сыграла продолжавшаяся два с половиной часа беседа советской делегации с Б. Берутом, о которой Греков специально докладывал в аппарат ЦК. Как подчеркивал М. Маловист, ученые из СССР «вели себя не как „судьи“, а как коллеги. Они не позволили, в частности, изолировать себя от нас, хотя их к этому склоняли» [26]. Выбранная советскими историками линия поведения способствовала расширению контактов с поляками, оказала положительное воздействие на дальнейшее развитие двустороннего научного сотрудничества, первые камни в фундамент которого закладывались как раз в интересующий нас период.

«Тесных деловых научных связей с советскими историками,— констатировал в конце 1948 г. П. Н. Третьяков,— пока что нет. Основной вывод, который мы сделали, польские историки нашей жизни, работ наших историков почти не знают... Нам необходимо упорядочить наши научные отношения с Польшей, с польскими учеными» [15. Л. 48а, 52]. «Объективного представления о том, что делается в области нашей исторической науки... у польских ученых нет,— вторил ему А. Л. Сидоров.— Мне сообщили о том, что, когда весной проходила в Праге конференция, то там один из польских эмигрантов выступал с обвинением против ученых в том, что те превратились в подголосков советских историков, что у них нет особого мнения по проблемам истории Польши. [Ученые же ПНР] говорили, что мы даже не знаем, какие вопросы разрабатываются советскими учеными. Некоторые помнят А. М. Панкратову по ее выступлению на Варшавском конгрессе историков» [15. Л. 55]. Третьяков и Удадьцов жаловались на крайне неудовлетворительное снабжение польских научных центров советской литературой. И. И. Удадьцов при этом ссылался на пример министра А. Вольского-Пивоварчика, которому пришлось выписывать последнее издание собрания сочинений Ленина... из Лондона [15. Л. 49, 61]¹⁷.

Цели и формы сотрудничества между советскими и польскими историками назывались в специальном письме, предназначенном для отправки в секретариат ЦК ВКП(б). «Научная и методическая помощь ученым народно-демократической Польши,— говорилось в нем,— является долгом советских ученых. Со своей стороны Институт славяноведения считает возможным обращаться к польским историкам-марксистам за консультацией по отдельным конкретным вопросам истории Польши, за помощью в вопросах библиографии, за отзывами на опубликованные работы и т. п.» [14. Л. 18]. Прокомментируем с помощью других источников положения этой краткой официальной реляции.

Советские историки неизменно выражали готовность поделиться с польскими коллегами своим опытом марксистских исследований. «Наш опыт сокращает Польше тот трудный путь, который пришлось пройти нам,— рассуждал Е. А. Косминский.— Им прекрасно известна... та борьба, которая у нас шла против вульгаризации науки, против покровщины. Это позволило им избежать многих ошибок, по крайней мере, облегчило борьбу с этими ошибками, когда они были допущены» [16. Д. 94. Л. 21—22]. Польским

¹⁷ Начатый в 1946 г. книгообмен между Советским Союзом и Польшей в 1947 г. внезапно прекратился и не возобновлялся вплоть до лета 1948 г. [15. Л. 65].

историкам передавался также опыт, накопленный в научно-организационной сфере. Прежде всего это было связано со введением планирования исследовательской работы и приданием ей коллективного характера. Особенно часто соответствующие разъяснения приходилось давать академику-секретарю Отделения истории и философии АН СССР Б. Д. Грекову. «Многие польские ученые,— делился он впечатлениями от поездки в 1948 г.,— не верят или, вернее, боятся планирования науки. Они сейчас переживают примерно такое же время, как мы переживали в двадцатых годах. Им кажется, что планирование науки уничтожает свободу творчества, свободу выбора тематики» [15. Л. 93]. Следует отметить, что идея коллективной плановой работы над крупными объектами находила тогда сторонников среди польских историков самых различных убеждений.

Взаимодействие ученых двух стран набирало силу по мере подготовки академических советского и польского многотомников по истории Польши. «Несколько лет тому назад, после съезда польских историков,— вспоминал в 1951 г. И. С. Миллер,— профессор А. Л. Сидоров... говорил о том, что практически советские полонисты не оказывают,— Аркадий Лаврович выразился: „и не могут оказать“,— помощи польским историкам-марксистам и что здесь наша роль пока очень неприглядна. Я думаю, что сейчас... положение несколько иное, что характеризовать его так пессимистически, как это было с самого начала работы Института... не приходится». Согласно Миллеру, советский проспект обобщающего труда явился первой марксистской концепцией новой и новейшей истории Польши, поступившей в распоряжение польских историков. Вместе с тем он считал, что отрицательное влияние на них могут иметь работы Б. Ф. Поршнева, преувеличивающие классовую борьбу в феодальную эпоху [16. Д. 68. Л. 37; Д. 72. Л. 43].

Обмен мнениями и информацией с польскими историками сделался важным фактором становления советской полонистики. «Нельзя скрывать,— говорил Б. Д. Греков,— что для нас история Польши — это крупный¹⁸ момент, потому что, во-первых, надо новые пути прокладывать, а, во-вторых, потому что мы не располагаем тем огромным материалом, который необходим. Особенно это касается последнего периода, и тут без помощи польских товарищей задачу окончательно решить мы не можем». Тот же лейтмотив звучал и в других выступлениях полонистов Института славяноведения на встрече с Т. Данишевским (зав. отделом истории партии ЦК ПОРП) в апреле 1951 г. [16. Д. 72. Л. 14, 18, 26]. В речи Е. А. Косминского, произнесенной в новогодний вечер 1952 г., набросок которой сохранился в отвоцком блокноте академика, проводилась очень важная, на наш взгляд, мысль, не известная по публикациям того времени. «Она (советская помощь польской науке.— Л. Г.) не так велика,— признавался Косминский,— так как польские ученые уже далеко шагнули в усвоении марксизма-ленинизма. Они говорят, что они в начале пути. Мы тоже в начале пути, наша наука еще молода, как молод социализм... Приветствую благородное соревнование польских и русских историков в деле марксистско-ленинской науки» [21. Д. 11. Л. 36]. Рассуждение о «начале пути», включенное позднее в статью для «Известий АН СССР», претерпело существенные изменения, перестав распространяться на советскую историческую науку. В черновом варианте этой статьи Е. А. Косминского остался и его вывод о том, что «Польша занимает одно из первых мест в мире по богатству своего историографического наследия» [21. Д. 12. Л. 11].

Имелась, однако, и другая точка зрения, предельно прямо заявленная молодым литературоведом Е. З. Цыбенко во время обсуждения в Институте славяноведения замечаний польских ученых на проспект многотомной «Ис-

¹⁸ По смыслу «трудный».

тория Польши» (март 1951 г.). «Нам, советским историкам литературы,—призывала она,— нужно не столько учиться у поляков, сколько помогать им, «а помочь им есть в чем» [16. Д. 68. Л. 49].

Ограничение верхнего хронологического рубежа наших наблюдений 1952 г. не является случайностью. Долгое время в литературе вопроса Отвоцк оценивался как час триумфа марксизма в польской исторической науке. Сейчас главное значение Первой методологической конференции видится, пожалуй, в ином. Двухнедельные дискуссии польских историков закончились поражением той погромно-догматической их группировки, которая мечтала «перестраивать науку» хирургическими методами по сталинской рецептуре. Победа здравого смысла в 1952 г., естественно, не получила огласки, однако именно она определила направление вновь созданного Института истории ПАН, судьбу польской историографии и историков в последние годы культа личности и быстрый успех «оттепели» на «историческом фронте» во второй половине 50-х годов.

О роли историков из Советского Союза в метаморфозах польской историографии рубежа 40—50-х годов можно спорить. Свою основную миссию все они определенно видели в придании исторической науке стран «народной демократии» советского облика. За этой исходной установкой начинались различия во взглядах и оценках, не такие, правда, контрастные, как у тогдашних польских историков, но все же достаточно очевидные, чтобы с ними считаться. То обстоятельство, что среди советских участников двусторонних контактов приверженцы экстремизма в научной политике составляли меньшинство, имело важное значение для успешного сопротивления польской исторической науке сталинизации. Делая лишь первые самостоятельные шаги в освоении истории Польши, имея весьма слабое представление о польской историографии, ограниченные в своем общении с зарубежными коллегами, призванные участвовать во всех пропагандистских кампаниях, развязываемых партийным руководством, наши историки избрали в целом верный путь. Жизнь оказалась более непредсказуемой, чем это можно было ожидать до знакомства с источниками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Piliszek J. M. Radziecko-polska współpraca w dziedzinie nauki i oświaty, 1944—1950. Warszawa, 1977; Захильняк Л. О. Становлення наукових зв'язків СРСР і Народної Польщі у галузі історичної науки (1945—1948)//Проблеми слов'янознавства. 1980. Вип. 22; Большакова К. В. У истоков сотрудничества историков СССР и Народной Польши (1946—1951)//Советское славяноведение. 1987. № 1; Вышомирская-Кузьминская О. Польско-советские связи в области общественных наук в 1945—1980 годах//Вопросы истории. 1987. № 7 и др.*
2. *Valkenier E. Stalinizing Polish Historiography: What Soviet Archives Disclose//East European Politics and Societies. 1993. № 1.*
3. *Горизонтов Л. Е. Польская история на Западе и в Советском Союзе: Опыт сопоставительного историографического обзора//Советское славяноведение. 1991. № 1; Горизонтов Л. Е. Польская историческая наука послевоенного двадцатилетия//Марксизм и историческая наука в странах Центральной и Юго-Восточной Европы (1870—1965). М., 1993.*
4. *Hübner P. Przebudowa nauk historycznych w Polsce (1947—1953)//Przegląd historyczny. 1987. № 4; Stobiecki R. Historia i historycy wobec nowej rzeczywistości. Z dziejów polskiej nauki historycznej w latach 1945—1951//Acta Universitatis Lodzianis. Folia Historica. 1991. № 43.*
5. *Manteuffel T. Zapiski do wspomnień//Manteuffel T. Historyk wobec historii. Rozprawy niezbrane. Pisma drobne. Wspomnienia. Warszawa, 1976; Kieniewicz S. Z rozmyślań dziejopisa czasów porozbiorowych//Kwartalnik historii nauki i techniki. 1980. № 2; Wereszycki H. Historyk sam o siebie//Kwartalnik historii nauki i techniki. 1986. № 3/4; Górski K. Autobiografia naukowa//Uczelnicy polscy o sobie. Warszawa, 1988. Т. 1; Tyrowicz M. W poszukiwaniu siebie... Wspomnienia i refleksje. Lublin, 1988. Т. 2; Bardach J. Z perspektywy półwiecza//Polskie Towarzystwo Historyczne, 1886—1988. Wrocław, 1990.*
6. *Ланкратова А. Седьмой Международный конгресс исторических наук в Варшаве// Борьба*

- классов. 1933. № 10. С. 11, 12, 16; *Лукин Н. М.* Итоги Варшавского конгресса историков//Вестник Коммунистической академии. 1933. № 5. С. 82.
7. *Ясинский Ч.* «Польская историография XIX и XX столетий» в освещении польских буржуазных историков// Борьба классов. 1933. № 10. С. 32.
 8. Архив РАН. Ф. 1548 (В. И. Пичета). Оп. 1.
 9. *Джервис М. В.* Польская историческая наука на VII Международном конгрессе историков (1933)//Историк-марксист. 1934. № 2. С. 106—107, 109.
 10. *Topolski J.* O powstaniu modelu historii: Jan Rutkowski (1886—1949). Warszawa, 1986. S. 36—38, 232; Вопросы истории. 1987. № 6. С. 171—172.
 11. *Джервис М. В.* К вопросу о разделах Польши (Критико-историографические замечания)//Исторический сборник. Л., 1934. Вып. 1. С. 232—234, 239.
 12. *Шустер У. А., Джервис М. В.* Германо-фашистские тенденции в современной польской историографии//Против фашистской фальсификации истории. М., 1939.
 13. *Пичета В. И., Шустер У. А.* Славяноведение в СССР за 25 лет//Двадцать пять лет исторической науки в СССР. М.; Л., 1942. С. 226.
 14. Архив Института славяноведения и балканистики РАН. Коллекция по истории Польши. Папка за 1950 г.
 15. ГАРФ. Ф. 5283. Оп. 21. Д. 56.
 16. Архив РАН. Ф. 1965 (Институт славяноведения и балканистики) Оп. 1.
 17. Wrocławski kongres historyczny//Teki historyczne. 1949. № 1/2.
 18. *Орехов Н.* К вопросу об истории Коммунистической партии Западной Белоруссии.//Коммунист Белоруссии. 1957. № 8. С. 34.
 19. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 132 (Отдел пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)). Д. 45.
 20. Основные проблемы истории Польши. (Обсуждение проспекта «Истории Польши» на совещании советских и польских историков в Институте славяноведения АН СССР 3—4 октября 1950 г.)//Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. 1951. № 4/5.
 21. Архив РАН. Ф. 1514 (Е. А. Косминский). Оп. 2.
 22. Архив РАН. Ф. 627 (Е. В. Тарле). Оп. 5. Д. 71. Л. 5.
 23. *Handelman M.* O nasz dzisiejszy stosunek do historii porozbiorowej//Pamiętnik V powszechnego zjazdu historyków polskich w Warszawie. Lwów, 1931. T. 2: Protokoły. S. 24—25.
 24. *Kotarbiński T.* Co widziałem «z niska i z wysoka»//Polityka. 1989. № 24. S. 14.
 25. *Kula W. Guśła//Kula W.* Rozważania o historii. Warszawa, 1958.
 26. *Małowist M.* Kilka uwag do artykułu Piotra Hübnera//Przegląd Historyczny. 1987. № 4. S. 487.



© 1993 г. ГУРСКИ РЫШАРД

Ю. И. КРАШЕВСКИЙ И СЛАВЯНСТВО

Юзеф Игнаци Крашевский (1812—1887) был во многих отношениях необычайным писателем. Эту необычайность описывали по-разному: титан труда, человек-институт, писатель-гражданин, причем эти определения появились в названиях некоторых посвященных ему работ, наряду с формулировками, подчеркивающими заслуги автора «Старой сказки», «большой писательский труд» этого чрезвычайно интересного человека (ср. [1]). Надо признать, что биографы Крашевского чаще обращали внимание на эту сторону его деятельности, чем авторы работ, посвященных другим представителям польской литературы. Это понятно и не удивляет, если учесть огромное наследие этого писателя, ибо таким образом подчеркивается его вклад в польскую литературу и культуру XIX в., его исключительное место в истории польской словесности.

Разумеется, недостаточно ограничиться этим справедливым утверждением, поскольку лишь ответ на вопрос, чем он заслужил это исключительное положение в национальной литературе, конкретизирует всю проблему и уточняет заслуги писателя.

Крашевский привлекал и привлекает количественным богатством своего наследия, охватывающего несколько сотен библиографических позиций. С этой точки зрения писатель держит пальму первенства в польской литературе, с ним не может сравниться ни один из отечественных художников и лишь немногие в мировой литературе. При этом обращает на себя внимание факт, что речь идет не только о произведениях, принадлежащих истории литературы, поскольку многие из них, благодаря своим достоинствам вновь появились на современном читательском рынке и пользуются достаточно большим спросом. Опросы читателей и социологические исследования подтверждают, что Крашевский остается одним из наиболее читаемых польских романистов.

И хотя Крашевский достиг наибольших успехов именно в жанре романа, несомненно в значительной степени этим обусловлено его видное место в польской литературе, тем не менее современные исследования его жизни и творчества подчеркивают многосторонность интересов и разнообразие форм самовыражения автора «Ульяны», обращая внимание на внелитературные стороны деятельности редактора «Gazety Codziennej», такие как

Гурски Рышард — д-р филол. наук, профессор, вице-директор Института литературных исследований ПАН.

живопись, музыка или журналистика. В них отмечается высокий уровень его литературной критики и публицистики, отмечается, что несмотря на приоритет романа в его творчестве, он писал также рассказы, поэтические и драматические произведения, получившие достаточно большую известность и признание не только при жизни автора (например, баллада «Дед и баба», комедия на старопольскую тему «Замковый мед» или исторический анекдот «Радзивилл, Panie Kochanku»), показывается, что популярность у современников он завоевал не только литературной деятельностью, но и своими издательскими начинаниями (например, как издатель сочинений Шекспира в трех томах, текстов старопольской драмы — например, «Иоachim и Анна» и рыбалтовской комедии, как переводчик Плавта), а также научными исследованиями в области истории и истории литературы (например, как автор трехтомной монографии «Польша в период разделов 1772—1799», а также биографии И. Красицкого).

Достоинны упоминания также корреспонденции автора «Графини Козель», посылаемые в 1866—1886 гг. в различные журналы после его переселения в Дрезден, систематически информирующие о важнейших событиях в политической и общественной жизни, и прежде всего о том, что происходило в сфере культуры, литературы и искусства за границей, главным образом в Германии и Франции, но также и в других странах (например, Италии, Скандинавии), в том числе и славянских.

Что касается последних, то они уже давно привлекали внимание Крашевского [2; 3], что не удивляет, если принять во внимание давний интерес к славянской культуре и литературе в польском романтизме, стремившемся к созданию национальной литературы путем обращения к фольклору своего и других славянских народов. То обстоятельство, что они не только раньше заинтересовались собственным фольклором, но и раньше, чем в Польше, осуществили публикации первых собраний народных песен, должно было побуждать к интенсификации усилий польских первооткрывателей творений народной Музы с целью их быстреего собирания и публикации [4. S. 322—323, 334—336, 339—340, 346]. Этому содействовало обнаружение связей и родства, объединяющих языки и литературы славянских народов. В ту эпоху это повсеместно осознавалось, что способствовало взаимному ознакомлению с жизнью и культурой разных славянских народов, распространению сведений из этой области и служило основой зарождающихся славянофильских концепций.

Эти идеи были не чужды Крашевскому. После прерванной арестом учебы в Виленском университете, где он в частности, слушал курсы красноречия и свободных искусств, изучал иностранные языки (в том числе старославянский и русский), занимался проблематикой языковедения и писал первые литературные произведения, и после освобождения из тюрьмы в 1832 г. он обратился к писательскому труду. В 1836 г. он безуспешно хлопотал о должности в Киевском университете на создаваемой кафедре польской литературы из-за отказа генерал-губернатора Долгорукова дать положительную аттестацию кандидату, хотя представленная на конкурс работа по истории языка получила наивысшую оценку среди всех рассмотренных [5. S. 21—26]. Поскольку с академической карьерой ничего не вышло, пришлось сосредоточиться на литературной и публицистической деятельности. Тогда, в частности, он стал сотрудничать с «Петербургским еженедельником», на страницах которого опубликовал статью «Мысли о сравнительно-исторической грамматике славянских языков» (1837), постулирующую необходимость исследований родства славянских языков не столько по научным, сколько по идейно-политическим побуждениям, ибо это должно было способствовать сближению славянских народов: «Кто знает, не было ли такое сближение, примирение, сопоставление первым шагом к

объединению, которое пока покоится под покровами времени. Цивилизация соединяет народы тысячько связей и взаимных потребностей, устанавливает обмен интеллектуальными ценностями; усиливающиеся влияния, общая терминология постепенно и понемногу связывают самые чужие языки; так почему бы также не связала общность формирования и судеб некогда братские народы, как их разделили разные события и пути?» [6].

Подобную позицию он отстаивал уже как редактор журнала «Athenaeum», посвященного истории, литературе, искусству, критике и т. д., выходящего в Вильно в 1841—1851 гг. и охотно уделяющего место различным славянским материалам, что соответствовало программному заявлению проспекта 1841 г.: «Обращая особое внимание на славянские литературы Редакция будет стремиться к подробному освещению развития литературы в России, Чехии и других братских странах» (см. [7]). Предполагалась публикация статьи Я. Коллара «О литературной взаимности» (1836), однако неосуществившаяся, хотя сам этот замысел представлял собой интересное освещение взглядов Крашевского на славянскую проблематику в контексте явного оживления взаимного интереса к культуре славянских народов, его убеждения в национальном единстве славян. Отмечая, что такого рода концепции приобретали все больше сторонников, он констатировал растущее движение в области распространения и популяризации славянских литератур, охватывающее весь славянский мир: «Чехи переводят русские и польские сочинения, мы — чехов, и взаимно обращаем взгляд друг на друга с братской заботливостью, интересуемся прогрессом без зависти, без соперничества, работаем как бы ради общей пользы, ведь мы все славяне и все пишем по-славянски, хотя один на русском, второй — на польском, третий — на чешском языке» [8].

Впрочем, он был не только наблюдателем этого движения, информирующим о том, что происходило в этой области в родственных странах, но и активным участником и пропагандистом ознакомления польского читателя с литературой других славянских народов, их интеллектуальной и культурной жизнью. Крашевский широко предоставил страницы «Athenaeum» для публикаций по славянской проблематике, с которой он знакомил читателей журнала посредством систематического информационно-библиографического обзора издательских новинок славянских стран, обсуждения научных и литературных трудов славянских авторов, либо работ на славянские темы. Крашевский не ограничивался этим, поскольку понимал необходимость публикации работ по этнографии и фольклористике, отражающих культуру и творчество белорусского, украинского и русского народов, представляющих тексты народных песен и сказок, и действительно опубликовал в «Athenaeum» довольно большое количество таких работ [9; 4. S. 229—241; 10. S. 32—36].

Одновременно он опубликовал в журнале переводы на польский язык произведений известных русских писателей — Н. Гоголя, М. Лермонтова и А. Пушкина [10. S. 17, 21, 23]. Достаточно сказать, что среди опубликованных, в частности, были «Записки сумасшедшего», «Шинель» и фрагменты «Мертвых душ» Гоголя. Это доказывает, что Крашевский внимательно следил за развитием литературы в славянских странах, хорошо осознавал ее масштаб и достижения, путем переводов старался ознакомить с ней польского читателя. Свои планы он смог осуществить, когда в 1841 г. стал редактором «Athenaeum» и начал на его страницах пропагандировать идею сближения славянских народов. Он быстро понял, что она может быть по-разному использована, что некоторые петербургские круги, с которыми, хотя бы по причине сотрудничества с «Петербургским еженедельником», он поддерживал контакты, все более ослаблявшиеся после выхода в свет «Athenaeum», создания «Бытовой смеси» («Mieszaniny obyczajowe») Яроша

Бейлы (Жевуского) и знакомства с письмами Михаила Грабовского к Писареву и Струтыньскому и вскоре полностью прервавшиеся, по-своему понимали славянофильские лозунги и придавали им однозначный политический оттенок, видя в царской России гегемона будущего славянского единства [З. S. 263]. Эта концепция была абсолютно чужда Крашевскому, и когда Грабовский, а также Жевуский оказались ее защитниками, это привело к разрыву всяких связей между писателем и петербургскими кругами и их главными представителями. Он сожалел тогда, что не пошел на этот шаг раньше, ибо это избавило бы его от определенных упреков, какие, например, в 1845 г. познаньский «Rok» высказал в адрес сотрудников «Петербургского еженедельника» [З. S. 363]. Однако уже ранее Крашевский перестал публиковать в «Atheneum» славянофильские статьи общего характера, поскольку заметил, что они по-разному интерпретированы, часто весьма отлично от его подлинных интенций, которые явно противоречили политическим принципам петербургских консерваторов, выступающих за сотрудничество с царскими властями. Они были неприемлемы для Крашевского ни тогда, ни позднее, поэтому он энергично выступал против них, и в царской России видел одну из основных угроз для польского начала, для своей нации. Поэтому он говорил об опасности, грозящей со стороны царизма, что отчетливо проявилось в его публицистической деятельности после переезда в Дрезден, в частности в издаваемых в 1866—1870 гг. «Rachunkach», которые по замыслу должны были подытожить и оценить степень польского влияния в разных областях жизни того периода после трех разделов страны.

Временно отказавшись от помещения программных выступлений на славянофильские темы в «Atheneum», Крашевский сосредоточился на освещении конкретных изданий, появляющихся в разных славянских странах, и публикации переводов литературных и фольклорных текстов, чтобы таким образом популяризировать достижения различных славянских народов в этих областях. Крашевский внимательно следил за этими достижениями и хорошо ориентировался в том, что интересного происходило у славян в области культуры и искусства. Он с пристальным интересом наблюдал за книжными и журнальными изданиями в этих странах, использовал информацию, присылаемую его сотрудниками и служившую основным источником его осведомленности по славянской тематике, поскольку сам посещал эти страны до переезда 3 февраля 1863 г. в Дрезден, как и после него — относительно редко. В 1843 и 1852 гг. он был в Одессе, в 1860 г. совершил поездку в Петербург, в 1863 г. — в Прагу, а позднее неоднократно бывал в Карловых Варах для укрепления своего здоровья.

Конечно, во время этих поездок он знакомился с представителями славянского художественного мира, при этом со многими из них состоял в переписке, а некоторых узнал лично в результате визитов к нему в Дрезден после 1863 г.

Следует отметить, что Крашевский в то время занимал высокое положение в польском обществе как романист и публицист, уже в 60—70-х годах он считался авторитетом, голос которого в различных вопросах имел большой вес, и получить его поддержку для разных культурных начинаний стремились не только соотечественники, но и представители других славянских народов. Автор «Старой сказки» становился духовным вождем нации, с мнением которого следовало считаться, а кроме того, он располагал возможностью выступать на страницах редактируемых им журналов или других серьезных еженедельников, с которыми сотрудничал, и потому мог использовать их для поддержки какой-либо инициативы, о чем его неоднократно просили.

Следует подчеркнуть, что он оставался верным направлению, начатому

в «Athenaeum», и в последующие годы, поэтому славянская тема всегда присутствовала в издаваемых им статьях. Став редактором «Gazety Codziennej» в Варшаве, он обратился в 1860 г. к Вацлаву Ганке с просьбой посоветовать кандидата в корреспонденты, «который бы информировал о национальном, литературном и политическом движении в Чехии и у других южных славян» [11. S. 15, 58]. Выбор пал на Яна Вацлика [11. S. 59]. Попутно стоит упомянуть, что Крашевский критически относился к ставшим в то время сенсационными фальсификациям В. Ганки, о чем свидетельствует его переписка с А. В. Шемберой [11. S. 135—139].

Приступив к изданию «Przeglądu Europejskiego, Naukowego, Literackiego i Artystycznego» в 1862 г., он опубликовал здесь перевод романа Божены Немцовой «Бабушка. Картины сельской жизни...» и рецензию Р. Зморского на работу А. Гильфердинга «Следы славян на южном берегу Балтийского моря». В журнале «Tydzień» (выходил в Дрездене с 1 января 1870 до 30 июня 1871 г.) также присутствовала славянская тематика, о чем свидетельствует обсуждение исторических драм А. К. Толстого и произведений А. Герцена [5. S. 493]. Если к этому добавить упоминания, которых немало в его корреспонденциях, посылаемых главным образом в варшавскую прессу в 1866—1886 гг., о творчестве, например, А. К. Толстого, И. Тургенева, Л. Толстого, а также о деятельности национальных центров, например, театра в Крагуеваце или Праге, то окажется, что важнейшие явления в тогдашней славянской культуре в целом не остались без его внимания, он информировал о них польских читателей.

Он писал о выдающихся достижениях русской литературы и ее успехе на Западе, где она начала издаваться в переводах, не избегал и сообщений о драматических событиях в культурной жизни, таких, например, как пожар в Национальном театре в Праге в 1881 г. Как в этом последнем случае, он не ограничивался лишь констатацией печального факта, выражением сочувствия Е. Елинеку, а выступил с инициативами, которые свидетельствовали и о солидарности с претерпевшими удар судьбы братьями, и о желании помочь им в создавшейся ситуации. Именно в результате стараний Крашевского львовский театр поставил «Гальку», а доход от представления передал на восстановление Национального театра в Праге. Крашевский сообщил об этом в письме к Е. Елинеку от 19 августа 1881 г.: «Прилагаю здесь афишу львовского представления, хотя, к сожалению,— как пишет мне директор,— оно очень мало принесло, как обычно в летний сезон. Я написал в „Век“, призывая откликнуться другие наши театры и (лишь бы власти разрешили) не сомневаюсь, что они ко мне прислушаются» [11. S. 82—83]. Стоит процитировать это письмо-призыв.

«Уважаемый Редактор!

Известие о тяжелом бедствии, обрушившемся на чехов, которые почти треть века работали на то, чтобы возвести достойный храм национального искусства, отказывая себе в самом необходимом, отозвалось в братских сердцах болью, равной величине утраты. Но боль и сочувствие бесплодны, если не пробуждают мужества и не ведут к действиям. Чехи, когда театр еще горел, уже собирали свой вдовий грош на возрождение его из пепла. Дай им Бог сделать это. „У нас нет театра,— стонали они плача, глядя на огонь,— но он у нас будет!“ „Народ себе“ вознесет другой; но разве наши братские театры и театрики не должны показать чешскому, что приняли его беду близко к сердцу? Каждая из наших сцен, хотя бы одним спектаклем, я уверен, захочет обратиться к чехам: „Нет вашего театра, но он у вас будет“. Призовите в Вашем издании к такому братскому деянию наши сцены, и, не сомневаюсь, что все они откликнутся на это с открытым сердцем. С истинным уважением Ю. И. Крашевский» [11. S. 163—164].

Здесь уместно вспомнить, что Крашевский был приглашен на торжество по случаю заложения первого камня под строительство Национального театра в Праге (1868), но не принял в нем участия. Причины этого он

раскрыл в письме к Й. Фричу: «...я совершенно не могу поехать в Прагу. Я оказался бы из-за этого в оппозиции ко всем у нас и должен был бы появиться рядом с москалями, вместе с ними, что для меня невозможно. Можно ли быть уверенным, что не придется опять услышать царский гимн, который вынудил бы нас демонстративно выйти» [11. S. 51].

Это письмо, как и другие высказывания Крашевского, свидетельствуют о его отношении к российским властям, к царизму. Оно было критичным. Достаточно упомянуть «Rachunki». И хотя позднее, учитывая угрозу со стороны Пруссии после ее победоносной войны с Францией, подобные акценты не проявлялись так часто и в такой острой форме [5. S. 507], не вызывает сомнения, что писатель не изменил принципиально мнение об угрозе для Польши со стороны царской России. В связи с этим он писал: «Пропать отделяет Польшу от России — и имя ей — российское самодержавие» (цит. по: [3. S. 371]). Поэтому демаскируя подлинное лицо панславизма, он утверждал: «Российский панславизм не хочет объединять, он жаждет поглощать (цит. по: [3. S. 371]). Одновременно в письме к А. Г. Киркору в связи с изданием «Славянской энциклопедии» он сформулировал идею равноправия всех славянских народов: «Никакой гегемонии — ни российской, ни польской, здесь все должны быть равны» (цит. по: [5. S. 508]). Верный этой идее, он стремился к пониманию и сотрудничеству между славянами: «Я был бы от души рад, если бы сердечный союз двух народов, столь близких не только по крови, но и по духу, по судьбе, по общим воспоминаниям мог укрепиться и сблизить, и объединить их друг с другом» [11. S. 80]¹. Поэтому он обращал внимание на опасность, грозящую наиболее продвинувшимся на запад лужичанам [5. S. 509; 12], выступал в защиту южных славян, интересовался судьбой либеральных и демократических сил в России, с деятельностью которых связывал надежды на будущее [3. S. 507—509].

Отношение к царизму не мешало ему заметить прогрессивные явления русской культуры, пропагандировать имена выдающихся российских писателей — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева и Толстого, произведения которых он хотел видеть переведенными на польский язык. Особо следует подчеркнуть отношение Крашевского к Тургеневу, о котором создатель «Budnika» неоднократно писал.

Крашевский довольно рано познакомился с первыми произведениями Тургенева. Очевидно, они заинтересовали его, если в 1859 г. он писал о необходимости познакомить польского читателя с творчеством автора «Рудина». Он стремился тем самым обеспечить постоянный и тесный контакт с творчеством наиболее известного тогда в Европе представителя русской культуры, популяризировать его и пробудить интерес к романисту. Этой цели служили также публикации в разные годы кратких и содержательных рецензий на отдельные произведения Тургенева и на его творчество в целом, упоминания в различных корреспонденциях о младшем русском товарище по перу, который действительно пришелся Крашевскому по сердцу и прочно завоевал его симпатию. Несомненно сблизило писателей их состоявшееся в Париже после 1860 г. знакомство и дружба. Инициатива (как можно предположить) исходила от польского писателя и нашла благодатный отклик с другой стороны. Посредник и организатор встречи — Эдвард Желиговский легко справился со своей миссией. Вот как позднее описал ее Крашевский: «В назначенный час прибыли оба (Тургенев и Желиговский). Я ждал их, и, встретившись в сумерках, мы просидели за столом допоздна. Тургенев, хотя и производил впечатление холодного и не очень многословного

¹ Эта цитата из письма к Е. Елинеку от 30 IV 1879 г. относительно связей, которые должны соединить польский и чешский народы.

человека, был наилучшим из собеседников. Его манера держаться, внутренний облик были не высокомерны, а несли на себе отпечаток высшего общества. В нем уже тогда чувствовался человек, который много пережил, как-то охладел и вынес из жизни какое-то печальное, тоскливое разочарование. Наутро после этого вечера ..., в течение которого мы много говорили о литературе и тогдашних ее течениях, — он принес мне на память ... свою фотографию, которую я храню как дорогую память» [13. 1883. № 37].

Последующие годы подтвердили, что это не был краткий и мимолетный контакт. Непосредственное общение двух писателей углубило взаимную симпатию, позволило сопоставить взаимные представления путем ознакомления с произведениями, отражающими впечатления от парижских разговоров. Они явно были положительными, поскольку с течением времени еще более возросло уважение Крашевского к Тургеневу, который также не остался в долгу и публично воздал должное заслугам польского романиста. Он сделал это в письме к Спасовичу по случаю юбилея Крашевского в Кракове в 1879 г., признанном юбиляром одним из наиболее приятных («Милое письмо, которое меня растрогало и взволновало»). Приводим его полностью:

«Уважаемый господин Спасович! Очень жалею, что непредвиденные обстоятельства помешали мне присутствовать на замечательном торжестве, устроенном в Кракове в честь славного ветерана польской литературы. Позволю себе просить Вас выразить достопочтенному юбиляру мои горячие поздравления и пожелания. С уверенностью могу добавить, что в моем лице огромное число русской интеллигенции приветствует Крашевского: по-братски жмет ему руку. Пусть же он примет это приветствие и это рукопожатие как залог сближения двух народов, так долго разьединенных историей и вступающих, наконец, в новую и плодотворную эру свободного, мирного и дружеского развития. В преддверии блага, которое предвещает близкое будущее, русский писатель, ученик Пушкина, мысленно провозглашает тост в честь польского поэта, соратника Мицкевича» [14].

Крашевский уже в первой заметке о «Времени» высказал свое принципиальное отношение к творчеству Тургенева, позднее неоднократно дополнил свои оценки. Именно тогда в самом общем виде он определил его творческий метод и писательские особенности. В качестве основного он выделил реализм, обусловленный отражением действительности, правдивым изображением мира и картины жизни, а также художественное мастерство. Благодаря этому Тургенев устоял перед натиском натурализма и не поддавался соблазну копировать, фотографировать и односторонне отображать (имеется в виду изображение безобразия и уродства) жизнь. В глазах Крашевского он был представителем так называемого идеального реализма, поскольку «рисовал с натуры, но свет, который он направлял на своих персонажей, делал их идеальными» [13. 1883. № 37]. В этом — один из истоков любви к Тургеневу. Это было отмечено в статье, написанной по случаю смерти Крашевского — здесь говорилось о его близости к принципам идеального реализма, «которые он разделял», и вместе с тем об осуждении им натурализма (см. [15]). Крашевский был противником доктрины и практики натуралистов, не соглашался с низведением литературы до роли регистратора так называемой грязи жизни и видел в этом отрицание ее высокой воспитательной идеи. Он полагал, что произведения последователей Золя не могут облагораживать, поднимать и позитивно воздействовать на человека, поскольку они ограничиваются прежде всего обрисовкой дурных и темных сторон человеческой личности. Поэтому он одобрял тургеневский метод изображения человека, исходящий из любви к нему и постулирующий отвечающее правде жизни воссоздание в подлинных пропорциях взлеты и падения действующих в произведении персонажей. Он подчеркивал верность

и меткость характеристик образов, мастерство художественного изображения повседневности, тщательную и умелую разработку даже мельчайших деталей. Он отмечал, что Тургенев при помощи простых средств сумел обнажить трагизм прозаических и повседневных явлений, придать им поэтичность и захватить читателя. Вообще вопросам художественности творчества Тургенева он уделил особенно много внимания и сделал много верных и интересных наблюдений. Крашевский считал его одним из немногих писателей, которые заслужили известность и славу «удивительным искусством художника, оригинальностью и обаянием образов, в которых действительность и правда так чудесно соединены с воображением и идеалами» [13. 1883. № 37]. Таким образом, Тургенев был для него «поэтом и художником до мозга костей», и все, «что он написал, носило на себе его отпечаток, выразительный, индивидуальный, неподражаемый» [13. 1883. № 37].

Кроме того, Крашевский отмечал связь деятельности и произведений Тургенева с актуальными проблемами жизни русского народа. Видел в нем творца, который являл собой «образец национального, самобытного характера, связанного при этом со всем миром, со всем человечеством крепчайшим узлом — христианской любовью» (см. письма Ю. И. Крашевского в [16]). Он указывал на привязанность Тургенева к отечественной литературе, культ родного языка и любовь к традициям, природе своей страны. Поэтому в сообщении об издании переписки Тургенева он написал: «Необычайно сдержанный и умеющий владеть собой, снисходительный ко всем, — когда касался отечественной литературы, он загорался и пылал» [13. 1885. № 116].

Тургенева же как человека Крашевский характеризовал так: «Мягкий, добрый, простой, естественный, вместо того, чтобы возвеличиваться, он приуменьшал свое значение — но будущее сделает его исполином» [13. 1883. № 37].

Славянские темы появлялись не только в публицистике Крашевского и редактируемых им журналах. Они присутствовали в его работах научного характера, например, в «Искусстве у славян» и «Проекте энциклопедии польских древностей», часто встречались в романах (отражение в них истории Чехии проанализировал Й. Шлизиньский [11. S. 13—19]). Их тематика касалась и древних славян («Старое предание»), и гронвальдской победы («Крестоносцы 1410. Картины прошлого»), и положения лужичан («Графиня Козель»), и польско-русских взаимоотношений («Мы и они»). Эта тематика затрагивалась не только в его историческом романе, но и в романе на современную, народную тему, показывающем жизнь и культуру белорусского и украинского народов.

Поэтому не удивительно, что в связи с 50-летием литературной деятельности Ю. И. Крашевского среди нескольких тысяч гостей в Кракове присутствовали представители всех славянских стран [3. S. 375; 11. S. 173—208], что по этому случаю посыпался град поздравительных телеграмм и писем от друзей-славян, что в праздновании, в частности, приняла участие чешская делегация во главе с Яромиром Челаковским и Эммануэлем Тоннером, что независимо от краковских подобные торжества состоялись в других славянских странах, пресса которых уделила польскому писателю большое внимание.

И что самое важное — в это время появились и новые переводы его произведений, хотя они публиковались и ранее (см. [17]).

Многие произведения Крашевского переведены на славянские языки. Изданы и собрания его сочинений, например, на чешском «Золотые мысли» (1884), «Избранные произведения» (3 тома — 1883—1884), на русском (12 томов — 1899—1900 гг., 52 тома — в 1915 г. и повести в 1956 г.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Szupkiewicz S., Śliwińska I., Roszkowska-Sykałowa W.* Józef Ignacy Kraszewski//Bibliografia literatury polskiej «Nowy Korbut». Kraków, 1966. T. 12. S. 155—156.
2. *Францев В. А.* Славянский элемент в литературной деятельности Ю. И. Крашевского. Варшава, 1913.
3. *Danek W.* Sprawy słowiańskie w życiu i twórczości Kraszewskiego//Pamiętnik Literacki. № 2.
4. *Górski R.* Lwowskie//Dzieje folklorystyki polskiej 1860—1863. Epoka przedkolbergowska. Wrocław, 1970.
5. *Danek W.* Józef Ignacy Kraszewski. Warszawa, 1973.
6. *Kraszewski J. I.* Myśli o gramatyce historyczno-porównawczej języków słowiańskich//Tygodnik Petersburski. 1837. № 57.
7. Athenaeum. 1841. T. 5. S. 249.
8. *Kraszewski J. I.* Literackie wieści//Tygodnik Petersburski. 1841. № 26.
9. *Górski R.* Athenaeum//Słownik folkloru polskiego. Warszawa, 1965. S. 23—25.
10. *Roszkowska-Sykałowa W.* Athenaeum Józefa Ignacego Kraszewskiego 1841—1851//Zarys dziejów i bibliografia zawartości. Wrocław, 1974.
11. *Śliziński J.* Z korespondencji J. I. Kraszewskiego z Czechami. Warszawa, 1962.
12. *Taszycki W.* Kraszewski i Lużycanie//Przegląd Współczesny. 1938. № 3.
13. *Kraszewski J. I.* Kronika zagraniczna//Tygodnik Ilustrowany. 1883. № 37; 1885. № 116.
14. Księga pamiątkowa jubileuszu J. I. Kraszewskiego 1879 roku. Kraków, 1881. S. 57—58.
15. Przegląd Tygodniowy. 1887. № 13.
16. Biesiada Literacka. 1888. S. 407 (list J. I. Kraszewskiego).
17. Nowy Korbut. Warszawa, 1966. T. XII.



© 1993 г. БОБРИК М. Н.

ФИНАНСОВАЯ РЕФОРМА ВЛАДИСЛАВА ГРАБСКОГО

История того, как Польша избежала в 1924 г. финансового краха, проведя в условиях глубокого экономического кризиса и без иностранной помощи валютную реформу, представляется яркой и незаслуженно забытой. Только в польской специальной литературе эта тема нашла некоторое освещение [1].

Восстановление в 1918—1921 гг. польской государственности неизбежно повлекло за собой сложные экономические решения. Причем задачи в области экономики сделались первостепенными лишь после того, как определился геополитический облик Второй Речи Посполитой. Стране предстояло не только преодолеть послевоенные экономический и политический кризисы, но и осуществить унификацию экономической жизни, создав из разрозненных польских земель единый экономический организм.

Если Германии, Франции удалось справиться с послевоенным политическим кризисом к концу 1923 г., то переход к стабилизации Польши явно затягивался.

Необходимые преобразования мешал начать ряд обстоятельств, в том числе внутривнутриполитического характера, связанных с процессом формирования демократического государства.

Польшей, думается, был избран не лучший способ функционирования парламентаризма. Все многочисленные политические партии — левые, правые, центр, а с ноября 1922 г. и национальных меньшинств — были представлены в польском парламенте. Депутаты объединялись в парламентские клубы, что было вполне естественно. Однако соблюдение анахроничной юридической формулы, согласно которой депутат представлял всю нацию (или весь народ), делавшей его свободным от связи со своей партией, облегчало постоянные расколы, перегруппировки и влияния клубов Сейма, приводившие даже к созданию новых партий. Молодой и несовершеннолетний польский парламентаризм, кипевшие эмоциями депутаты, отсутствие опыта, а часто и желания консолидации политических сил общества, — а в результате бесконечная череда правительств и персоналий в кабинетах. Не было ли это отголосками стародавних традиций шляхетской демократии, за что отчасти и заплачено раздelaми польских земель в конце XVIII в.?

В таких условиях экономические вопросы долгое время оставались нерешенными, а кризисное состояние экономики только усугублялось.

Бобрик Марина Николаевна — канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

Задачи восстановления разрушенного войной хозяйства и унификации польских земель требовали больших капиталовложений. Политика государства была изначально нацелена на привлечение, прежде всего через кредитование, в экономику частного капитала. Однако идти этим путем было нелегко. Нестабильная политическая ситуация не располагала имущие слои польского общества к доверию и сотрудничеству с часто менявшимися кабинетами. Они предпочитали заниматься экспортом и держать деньги в иностранной валюте, часто вне пределов страны. В результате кредитная политика не была эффективной, а в условиях растущей инфляции становилась совсем не выгодной. Вновь создававшиеся государственные структуры, культура, образование нуждались в немалом субсидировании. Военные расходы также были большими. Если же вспомнить о военных разрушениях, то становится ясно, что доходы государства были далеко не достаточными. К тому же не хватало профессионалов-финансистов для выработки и проведения правильной налоговой политики, что делало возможным различного рода злоупотребления и просчеты в этой области.

С бюджетным дефицитом государство боролось крайне простым способом: в «нужном» количестве печатались бумажные деньги — польские марки. Политика налогообложения за процессом обесценивания денег не поспевала, и функции налогообложения выполняла инфляция. Причем если первоначально небольшая инфляция стимулировала активность владельцев капиталов, заставляя их крутиться, способствуя тем самым росту производства, то в дальнейшем развитие инфляции становилось выгодным лишь обладателям очень значительных и мобильных капиталов. В итоге в 1922—1923 гг. все слои и группы польского общества были заинтересованы в стабилизации национальной валюты, кроме лиц, делавших на галопирующей инфляции большие деньги. Ничем не ограниченная инфляция угрожала перейти в гиперинфляцию, представлявшую серьезную опасность для польской экономики. Поэтому к лету 1923 г. необходимость реформ стала очевидной уже для всех.

Между тем призрак финансовой катастрофы принимал реальные очертания. Осенью 1923 г. темп роста цен опередил темпы роста курса доллара, съедая тем самым инфляционную премию за вывоз из страны товаров, прежде всего сырья. Поскольку же внутренний рынок продолжал оставаться очень ограниченным, хаос в денежном обороте углублялся. Многие предприятия переходили в этих условиях к расчетам в иностранной валюте. Система кредитования окончательно потеряла смысл. Кроме того, тесно связанная с немецким рынком польская марка начала резко падать еще и в связи с усилением экономического кризиса в Германии. Так, в июне 1923 г. за один доллар давали 100 тыс. польских марок, в ноябре — 3 млн, а в декабре — уже 6 млн.

Недовольство катастрофически обнищавших граждан вылилось в широкое забастовочное движение. Бастовали не только рабочие, но и государственные служащие, по всей стране шли антиправительственные митинги и демонстрации. В ноябре 1923 г. Польшу потрясли волнения в Кракове, закончившиеся кровавыми столкновениями с армией и полицией. Кабинет В. Витоса, не принимавший мер по ограничению инфляции, пал. К власти пришло правительство, сумевшее предотвратить финансовый крах Польши. Возглавлял его Владислав Грабский. Думается, Польше повезло, что в столь катастрофической ситуации у власти оказался человек, достойный стоявших перед польской экономикой сложнейших задач.

В. Грабский родился в семье крупного землевладельца. Учеба в филологической гимназии в Варшаве в 1883—1892 гг. была сопряжена с посещением тайных кружков самообразовательного характера, в которых обучение шло на польском языке. В. Грабский входил даже в центральные

органы, координировавшие деятельность таких кружков во всем Королевстве Польском. Так получению гуманитарных знаний сопутствовало патриотическое воспитание и приобретение навыков организаторской деятельности. Вполне закономерно также, что братья Грабские — Владислав и Станислав — и их сестра, как и многие сверстники их круга, в то время увлекались идеями социализма.

В дальнейшем В. Грабский продолжил учебу в Париже в школе Политических наук, а затем в Сорбонском Университете, где одновременно вел исследования в области истории под руководством известных французских историков и экономистов. В эти годы сформировались его либеральные взгляды. Особенно близкой его образу мышления оказалась теория экономического солидаризма. Затем В. Грабский переехал в Халль и занялся агрономией. За годы учебы здесь он написал две серьезные научные работы на французском языке — «Аграрный вопрос во Франции» и «Теория и сельскохозяйственная практика у немцев».

Приобретенные знания, знакомство с передовой общественной мыслью позволили Грабскому стать профессионалом европейского уровня. Раскрытию же таланта его как политика и экономиста способствовала постоянная научная и практическая деятельность, участие в польской общественной жизни.

Первым полем приложения собственных сил было имение отца. Вступив во владение им в 1897 г., В. Грабский вскоре сумел поправить дела вопреки тогдашнему сельскохозяйственному кризису. Видя отставание сельского хозяйства Польши, он не только сам применял прогрессивные методы его ведения, но и старался влиять на других землевладельцев: организовал опытную сельскохозяйственную станцию в г. Кутне, фабрику по изготовлению дренажных труб, сельскохозяйственный кооператив, мелиоративное товарищество и другие земледельческие общества. Будучи популярным деятелем в Королевстве Польском, он был избран в Государственную Думу России, где представлял польские интересы, приобретая опыт парламентской и политической деятельности.

Научные изыскания Грабского, проведенные им социологические исследования польской деревни, вылившиеся в серьезные монографические работы, имеющие и сегодня научный интерес, убеждали его в верности концепции экономического солидаризма. За свои научные интересы Грабскому довелось даже пострадать: работая в крестьянской среде, он попал под подозрение царских властей, был арестован и несколько месяцев в 1905 г. находился в тюрьме, где продолжал собирать статистические данные, опрашивая заключенных. Несмотря на арест, Грабский был и оставался убежденным сторонником прорусской ориентации в вопросе освобождения поляков.

В годы первой мировой войны Грабский придерживался проантантовской позиции, создал, встав во главе его, Центральный гражданский комитет, вместе с некоторыми членами которого в силу военных обстоятельств эвакуировался в глубь России и, развернув там организаторскую деятельность среди польских эмигрантов, отстаивал их интересы и интересы Польши. Однако, разочаровавшись в либерализме Временного правительства и негативно восприняв события октября 1917 г., он вернулся в Королевство Польское, оккупированное немцами. Здесь Грабский, известный своей антинемецкой позицией, был арестован и заключен в тюрьму в Модлине, где подготовил учебник по аграрной истории.

Даже краткое рассмотрение жизненного пути В. Грабского показывает, что ориентиром в его энергичной научной и политической деятельности всегда были польские интересы, прежде всего независимость Польши, ее экономическая самостоятельность, возможности перехода к которой в рамках

Королевства Польского он исследовал еще в самом начале XX ст. Входя в состав Польской ликвидационной комиссии, наибольшее внимание он уделял именно финансовым вопросам.

В независимой Польше экономические интересы возрожденного государства всегда находились в центре его профессиональной деятельности. Будучи лишь опосредованно связанный с партией, с ее умеренным крылом, беспартийный В. Грабский, всеми признанный профессионал в области финансов, получал несколько раз в часто менявшихся правительствах портфель министра финансов, а в 1920 г. в течение нескольких месяцев одновременно возглавлял и кабинет министров.

Разрабатываемый В. Грабским план экономических преобразований, прежде всего в области финансов, был представлен Сейму, и, обретя его поддержку, Грабский в январе — июне 1923 г. начал его осуществление, еще будучи министром финансов в правительстве Вл. Сикорского. План был рассчитан на срок в три года. Подготовить почву для новой валюты можно было только добившись бюджетного равновесия и стабилизировав финансы. Путь к этому пролегал через продуманную налоговую политику, предусматривавшую в тех условиях единственно возможное решение — увеличение налогов прежде всего на имущие слои общества.

Первоначально предполагалось добиться бюджетного равновесия, в частности посредством валоризации (исчисления в валюте) государственных доходов. Закон об определении стоимости польской марки относительно стоимости золота имел большое значение для оздоровления польской экономики. Только так можно было наполнить конкретным содержанием государственную налоговую политику, иначе приносившую дивиденды, как и кредитование, исключительно предпринимателям, задерживавшим обычно выплату налогов, что в условиях галопирующей инфляции было экономически очень выгодно. Тем не менее Сейм долго не мог принять даже этот важный закон, не говоря уже обо всей программе преобразований, предлагавшихся Грабским, которые удалось при правительстве Сикорского только наметить. Так, 14 мая 1923 г. был принят закон о государственном промышленном налоге, согласно которому промышленники облагались налогом в 2,5% от оборота (0,5% — на коммунальные услуги). А основополагающий в планах Грабского закон о налоге на собственность предусматривал поэтапное — в шесть взносов — поступление в казну в 1924—1926 гг. 1 млрд франков (500 млн — от крупных землевладельцев, 375 млн — от промышленности и 125 млн — от других сфер экономики).

Далеко идущие планы Грабского по оздоровлению экономики сталкивались с серьезными трудностями, связанными прежде всего с нежеланием имущих платить солидные налоги в государственную казну. В мае 1923 г. произошла очередная смена правительств. К власти пришла польская правящая партия. Грабский остался министром финансов. Однако невозможность Сейма прийти к единому мнению по вопросу о разложении бремени налогов на отдельные слои польского общества заставила его 4 июля подать в отставку. Так закончилась первая попытка проведения Грабским реформы. Причем верность выбранного им курса была подтверждена в первые месяцы 1923 г., когда Грабскому удалось приостановить падение польской марки. Проведение же правительством уже без Грабского политики, способствующей росту инфляции, поставило страну на грань полного банкротства.

В глубоко кризисных условиях вспомнили о предложениях Грабского, которому президентом Ст. Войцеховским было предложено сформировать правительство, став одновременно министром финансов. Только беспартийное правительство Грабского смогло пойти на финансовую реформу, но продержалось оно лишь два года: с ноября 1923 г. до ноября 1925 г. Саму реформу стало возможным осуществить благодаря полученным правитель-

ством от Сейма в ситуации надвигавшегося финансового краха чрезвычайным полномочиям сроком на полгода, хотя премьер и просил год.

Правительство Грабского было создано президентом Второй Речи Посполитой в ситуации, близкой к критической, даже можно сказать в ситуации политической, социальной и финансовой катастрофы. Кто знает, где проходила зыбкая грань, отделявшая общество от полного краха? В любом случае в чрезвычайных условиях президентом Войцеховским было созвано внепарламентское правительство Грабского, с существованием которого сеймовые партии должны были примириться, тем более что Сейм оказался не способен создать большинства. В такой сложной обстановке пришло к власти и работало «надпартийное» правительство, а его премьер-министр постоянно стремился придать своему кабинету характер «прокоалиционного правительства».

В. Грабский сознавал, что только за счет нищих и революционно настроенных широких слоев общества провести реформу нельзя. Краковские события ноября 1923 г. подтвердили правильность его точки зрения, наглядно показав, что это была дорога в никуда. Существовал еще один вариант проведения экономических преобразований — путем использования иностранных займов. К нему Грабский относился без особого энтузиазма. Да к тому же эта возможность не очень и просматривалась. В политике Англии и США — единственных потенциальных кредиторов — определились новые ориентиры, связанные с восстановлением экономической мощи Германии, что явно противоречило польским интересам. Вкладывая деньги в немецкую экономику, эти державы определили и ход реформы в Германии, приведшей к массовой безработице, пауперизации большинства населения и соответственно углублению комплекса неполноценности проигравшей войну немецкой нации, что в дальнейшем столь дорого обошлось человечеству. А поскольку мировой капитал в 1923 г. был уже серьезно задействован в Германии и Австрии, проводивших реформы, с валютными вливаниями в польскую экономику никто не спешил.

Осенью 1923 г. переговоры об иностранном займе были только начаты. По приглашению правительства Витоса в Польшу находилась английская экономическая миссия во главе с Г. Юнгом, который настойчиво предлагал проводить реформы, полагаясь, в первую очередь, на внутренние ресурсы: экономию средств на военных расходах и на системе просвещения. Зато неизменно возрастали бы траты на иностранных специалистов (экономистов, финансистов и др.), которые должны были прибыть в Польшу в большом количестве и на неопределенный срок и чьи услуги должны были высоко оплачиваться за счет польской казны. Для Великобритании это было выгодное предприятие, если учесть, что там тогда существовала проблема безработицы, особенно среди высококвалифицированных специалистов. Предварительным условием займа было выставлено достижение финансовой стабилизации. В этих рекомендациях четко просматривался немецкий сценарий проведения реформы. В польских условиях это была все та же дорога в никуда, особенно если вспомнить об эмоционально-психологическом состоянии общества: недавняя эйфория от независимости резко сменилась разочарованием, связанным с непреходящими трудностями проживания в бедной, аграрной, с нерешенными экономическими и национальными проблемами стране, расположенной к тому же в центре Европы, между Россией и Германией. У В. Грабского была своя программа оздоровления экономики и финансов страны. Успех же реформы зависел от быстроты и энергичности действий, что обеспечивали правительству полученные от Сейма чрезвычайные полномочия.

Крайне важное значение имело вступление в жизнь в декабре 1923 г. закона о валоризации, или золотой валюте, закона, делавшего реально

действенной налоговой политику. Главным инструментом этой политики стал налог на собственность — имения, промышленные и торговые предприятия, аграрные хозяйства, дома и т. п. — стоимостью более 10 тыс. франков. Законодательным путем в январе 1924 г. были ускорены темпы выплаты этого налога и возросли другие налоги — на землю, на посреднические услуги. Тогда же, после увеличения тарифов на железнодорожный транспорт, прекратились государственные дотации, являвшиеся своеобразной формой помощи частному бизнесу. Совершенствованию системы административного управления сопутствовало сокращение чрезмерного числа государственных служащих. Важным событием, определившим перелом в общественном сознании, явилось взятое на себя правительством обязательство воздерживаться с 1 февраля 1924 г. от обращения во Всепольскую ссудную кассу за кредитами. В то же время имевшиеся у государства резервы иностранной валюты были использованы для интервенции на варшавской бирже в целях прекращения падения польской марки. В результате уже в конце января 1924 г. курс доллара стабилизировался и даже несколько упал. Владельцы валюты начали продавать ее банкам. Предпринятые меры позволили справиться с бюджетным дефицитом, и впервые доходы государства даже превысили расходы. Стало возможным прекращение эмиссии пустых денег. Достижение бюджетного равновесия подготовило почву для введения новой валюты, к чему по сути и стремился Владислав Грабский.

Следует отдельно отметить, что как стабилизация финансов Польши, так и переход к новой валюте были осуществлены без иностранной помощи. Переговоры правительства Грабского с главой английской миссии Г. Юнгом зашли в тупик, и в начале февраля 1924 г. миссия покинула Варшаву.

Переход к новой валюте — злотому — основывался на создании независимого от правительства Польского Национального банка с акционерным капиталом, имевшего исключительное право эмиссии денег. Это была давно и хорошо продуманная акция. Проект устава банка был подготовлен специальной комиссией при активном участии Грабского еще в 1923 г. А 25 января 1924 г. тщательно проработанный документ появился в «Перечне постановлений правительства».

Уставной капитал Банка был определен в 100 млн злотых и должен был складываться из акционерных взносов польских граждан при минимальном участии государственной казны. По стране были организованы специальные комитеты по пропаганде подписки на акции Банка, шло, как бы мы сказали сегодня, всенародное обсуждение данного решения правительства, сразу же подвергнувшегося острой критике, так как объявленная сумма многим представлялась нереальной, слишком грандиозной.

Примечательно, что Грабский при обсуждении идеи создания Банка относился со вниманием к мнению других и, проявляя себя гибким политиком, оказался способным к коррективке выношенной им и оформленной его правительством идеи, что жизненно важно для любой теории, если ее создатели хотят, чтобы их детище из голой схемы превратилось в работающую модель. Понимая это, Грабский опубликовал указанное постановление только после согласования текста с экономическими кругами. И в дальнейшем он внимательно прислушивался к пожеланиям, высказываемым в связи с организацией Польского Национального банка. Думается, именно от таланта Грабского как экономиста-практика во многом зависел успех его реформаторской деятельности. Умение слушать других — великая вещь.

Проявляя сей редкий дар, Грабский, несмотря на первоначальную установку на оплату акций только в иностранной валюте и золоте, вынужден был согласиться с тем, что будет справедливо и с пользой для дела предоставить желающим приобрести акции возможность обменять польские марки на доллары по ставшему стабильным к тому времени курсу — 9350 тыс. марок за доллар,

тем более что имевшиеся у государства запасы иностранной валюты это позволяли. Стимулирующее влияние на ход подписки на акции возымело и предоставление права покрытия наличными сразу лишь 50% декларированной суммы, что также первоначально правительством не предполагалось. Особое внимание было оказано государственным служащим и военным, имевшим бюджетное финансирование. Предусматривалось, что они могут записываться на акции в рассрочку, причем часть сразу не оплачиваемых акций компенсировались тут же из государственной казны.

Политика на привлечение экономических, государственных и военных сфер себя полностью оправдала. Именно они были верно определены как основные потенциальные держатели акций. Необыкновенную активность промышленников стимулировала возможность таким путем реализовать имеющиеся у них деньги — польские марки, и только ими было внесено почти 100 млн злотых, а их доля участия в уставном капитале банка составила 35%. Государственные чиновники и военные, используя предоставленные им льготы, также активно включились в подписку на банковские акции и вместе с представителями свободных профессий внесли 23,1% уставного капитала. Банки внесли 11,6%, торговля — 10%.

Крайне слабый интерес к делу создания банка проявили землевладельцы — их доля участия составила всего 7%: крупные землевладельцы были обременены высоким налогом на собственность, мелкие же почти совсем акции не покупали, видимо, просто по причине безденежья.

Первоначально на долю государственной казны пришлось 10% акций, превратившиеся по мере истечения срока подписки всего лишь в 1% от уставного капитала, поскольку казна уступила 9% от доли своего участия служащим и интеллигенции. Такое неожиданно слабое задействование государственных денег свидетельствовало об очень активном — сверх всех ожиданий — участии польских граждан в деле создания Польского Национального банка, а значит их заинтересованности в успехе реформы.

Важно подчеркнуть, что время для проведения подписки на акции было выбрано правильно. Приступили к мероприятию только в конце февраля 1924 г., когда у правительства появилась полная уверенность в том, что бюджетное равновесие достигнуто. Именно тогда в атмосфере доверия правительству, сумевшему не только справиться за два месяца с гиперинфляцией, но и стабилизировать польскую марку и вместе с тем добиться бюджетного равновесия, возможно было осуществить задуманное. Главное — люди поверили в скорое оздоровление экономики. Поэтому и удалось силами всего польского общества, без обращения за помощью к иностранному капиталу, организовать Польский банк с исключительным правом эмиссии новых польских денег — злотых. Структура же этого солидного банка держалась на системе по крайней мере 30-процентного покрытия дивизами и золотом выпущенных в обращение билонных (разменных металлических) монет. Отсюда и довольно высокий курс равного $\frac{9}{31}$ грамма золота польского злотого, приравненного к швейцарскому франку, или 5,18 злотых за доллар. Был установлен курс злотого и относительно польской марки: за 1 злотый давали 1800 тыс. марок, которые окончательно вышли из потребления 1 июля 1924 г. Введен же злотый был 28 апреля вместе с открытием Польского Национального банка, т. е. два месяца в стране параллельно существовали и марки, и злотый.

Будучи близок к умеренному крылу польской правящей, Грабский считался с требованиями ее и центра и опирался соответственно прежде всего на их поддержку. Однако в январе 1924 г., после ноябрьских столкновений в Кракове и волны забастовок рабочих по всей Польше, он внес проект закона о расширении социального законодательства, предусматривавший страхование от безработицы. (К слову сказать, Грабский был единственным

представителем имущих на государственном уровне, подумавшим о правах трудящихся в межвоенное двадцатилетие.) Это было мудрое решение. Во-первых, обеспечивалась поддержка левых сил курсу реформ. Польские социалисты, хотя и без восторга, но все же поддерживали кабинет Грабского, считая его меньшим злом, чем польская правица или союз правицы и центра. В то же время таким образом решалась и проблема защиты от безработицы в условиях, когда экономические круги могли вдруг пойти на сокращение производства, если бы посчитали для себя налоговую политику государства слишком разорительной. От этого шага их удерживал закон о безработице, делавший увольнение рабочих накладным. А ведь именно ростом безработицы и увеличением рабочего дня обернулась для немцев их реформа, финансируемая США и Англией.

Продуманная политика Грабского позволяла ему балансировать, согласовывая интересы различных сил и групп, преодолевая разногласия политических мнений многочисленных парламентских клубов, и добиться доверия к реформе со стороны польского общества, что и сделало возможным ее проведение.

Успех реформы во многом зависел от личности Владислава Грабского, ее автора и исполнителя. Иначе, наверное, и не могло быть в стране только-только становящегося на ноги парламентаризма. Моральный авторитет и всеобщее уважение к Грабскому как к профессионалу-финансисту сыграли большую положительную роль. А главное — Грабский оправдал доверие, оказавшись на высоте задач реформирования.

Введение золотого, реально обеспеченного девизами и золотом, имело решающее значение для польской экономики межвоенного периода. Проведение в кризисных условиях и без иностранной помощи серьезной валютной реформы вернуло страну в лоно рациональной экономики.

Обусловленная рядом неблагоприятных внешне- и внутривнутриполитических обстоятельств, неурожаем 1924 г., серьезным ухудшением мировой конъюнктуры, экономическая жизнь Польши и после реформы была достаточно сложной. Устав прежде всего от постоянных попыток удержать равновесие в межпартийных отношениях, Грабский 12 ноября 1925 г. подал в немедленную и безоговорочную отставку и, получив ее, ушел из политики в чистую науку, с которой по сути никогда и не расставался.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Drozdowski M.* Życie gospodarcze Polski w latach 1918—1939//Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1986; *Dzieje Polski.* Warszawa, 1975; *Grabski WL.* Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924—1925). Warszawa, 1927; Program walki z kryzysem gospodarczym w Polsce. Warszawa, 1925; *Historia Polski.* Warszawa, 1978. T. IV, cz. 2—4; *Kwiatkowski E.* Pisma o Rzeczypospolitej. Szczecin, 1985; *Polska odrodzona 1918—1939.* Państwo, społeczeństwo, kultura/Pod red. J. Tomickiego. Warszawa, 1982; *Landau Z., Tomaszewski J.* Druga Rzeczpospolita: gospodarka-społeczeństwo-miejsce w świecie (sporne problemy badań). Warszawa, 1977; *Trudna niepodległość. Rozważania o gospodarce Polski lat 1918—1939.* Warszawa, 1938; *Zarys historii gospodarczej Polski 1918—1939.* Warszawa, 1971; *Morawski W.* Władysław Grabski, premier rządu polskiego 23 VI — 24 VII 1920, 19 XII 1923 — 14 XI 1925//Prezydenci, premierzy Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1992; *Piwiński K.* Władysław Grabski//Polski Słownik Biograficzny. Wrocław; Kraków; Warszawa, 1960. T. VIII/4, z. 39. S. 524—528; *Zientara B., Mączak A., Ichnatowicz J., Landau Z.* Dzieje gospodarcze Polski do 1939. Warszawa, 1965.



ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

© 1993 г. АКСЕНОВА Е. П., ГОРЯИНОВ А. Н., МОЛОК Ф. А.

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ ПУШКАРЕВИЧ

Жизнь и творческая деятельность немногочисленных советских славистов, вступивших на научное поприще в 1920—1930-х годах, возможно, теснее чем когда бы то ни было связана с судьбами их поколения и Отечества. Они пережили годы пренебрежения к любимой науке и гонений на нее; преодолевали многочисленные препятствия, чинимые властями научным исследованиям; начали возрождать славяноведение в конце 1930-х годов.

Одним из тех, кто взвалил на себя нелегкую в сложившихся условиях ношу разработки проблем славяноведения, стал Константин Алексеевич Пушкаревич. Он родился 22 октября 1890 г.¹ в деревне Песчатка Половецкой волости Гродненской губернии в семье крестьянина, отставного унтер-офицера, с восьми лет жил у дяди, земского фельдшера, с 4-го класса гимназии существовал на собственные заработки репетитора, получал за успехи в русском языке стипендию имени В. П. Острогорского [1. Л. 1—2; 5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 12—12об.].

В 1912—1917 гг. К. А. Пушкаревич учился на славяно-русском отделении историко-филологического факультета Петербургского университета и после его окончания был оставлен для подготовки к профессорскому званию по кафедре славянской филологии. В университетские годы будущий славист принимал участие в студенческом движении и даже просидел в связи с этим месяц в тюрьме [2. Оп. 7. Д. 419. Л. 1—3]; однако основное внимание он уделял учебе. К. А. Пушкаревич под влиянием своего учителя, специалиста по романским литературам Д. К. Петрова, которого он впоследствии тепло вспоминал [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 87], заинтересовался средневековой дубровницкой литературой и написал большую работу о творчестве писателя XVI в. М. Држича, в которой подчеркивал итальянские корни его творчества, доходя до утверждения, что писатель удовлетворял стремления «современников ко всему итальянскому в ущерб своему национальному» [6. Д. 11. Л. 153—154]. Латино-славянским контактам была посвящена и работа К. А. Пушкаревича «Булла Адриана II в паннонских легендах», в теме которой видится явный вкус к историческому и даже источниковедческому исследованию [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 12—12об.].

Аксенова Елена Петровна — канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

Горяинов Андрей Николаевич — канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.

Молок Флуранс Александрович — канд. ист. наук.

¹ Так в копии свидетельства о рождении [1. Л. 1]. В ряде автобиографий К. А. Пушкаревича указана иная дата — 2 октября 1890 г. или 1892 г. [2. Оп. 7. Д. 419. Л. 1; 3. Оп. 1. Д. 1050. Л. 80; 4. Д. 27. Л. 2].

К. А. Пушкаревичу не удалось своевременно завершить двухлетний цикл научной подготовки: в феврале 1918 г. он уехал в командировку в Томск для чтения лекций в местном университете [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 12—12об.] и, видимо, застрял в городе после захвата его 31 мая чешскими легионерами. В Томске молодой ученый смог заняться университетским преподаванием фактически лишь с 1920 г. Работая одновременно в школе, он вел со студентами практические занятия по сербскому эпосу и современной польской литературе, а с 1921 г.— и по болгарскому языку. Чтобы лучше подготовиться к предстоящим занятиям, К. А. Пушкаревич обратился с просьбой о присылке соответствующих болгарских текстов к Н. С. Державину, не преминув сообщить ему, что принял за образцы слышанные в студенческие годы его лекции. «Центр тяжести моих занятий, — отмечал К. А. Пушкаревич, — лежит главным образом в стремлении научить обращению с текстом современного болгарского литературного языка, попутно сообщая, по силе своих знаний, сведения из фонетики и морфологии». Пушкаревич дал понять, что хотел бы продолжить научную подготовку под руководством петроградского слависта, специализируясь по болгарскому языку [3. Оп. 4. Д. 446. Л. 1—1об., 2—3, 6—7].

Н. С. Державин, видимо, так и не прислал ожидавшейся Пушкаревичем программы подготовки к магистерским экзаменам, однако пригласил его в Петроград. В 1922 г. К. А. Пушкаревич был зачислен в аспирантуру Научно-исследовательского института сравнительного изучения языков и литератур Запада и Востока при Ленинградском университете (ИЛЯЗВ), возглавляемого Н. С. Державиным. Он принимал участие в работе славяно-византийской группы института и подгруппы по изучению современного славянства. В 1925 г. Пушкаревич представил диссертацию ««Comedia erudita» в дубровницкой литературе», получив право преподавания в вузах [2. Оп. 7. Д. 419. Л. 4; 3. Оп. 1. Д. 1050. Л. 80об.; 5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 12—12об.; 7]. Тогда же молодой славист был избран в состав Славянской комиссии Академии наук, где работали ученые старшего поколения и их немногочисленные последователи из среды научной молодежи; на заседаниях, которые были основной формой деятельности Комиссии, наряду с традиционными для славяноведения филологическими проблемами обсуждались вопросы новейшей истории и современного положения славянских народов. К. А. Пушкаревич выступил в Комиссии 12 января 1926 г. с докладом «Аграрная реформа в современной Чехословакии», который свидетельствует о его интересе не только к культурно-исторической, но и к социально-экономической проблематике. Сделанный Пушкаревичем обзор земельных отношений в чешских и словацких землях основан на большом статистическом материале, которым автор умело оперирует с целью доказать, что аграрная реформа 1919 г. лишь в незначительной степени ослабила земельный голод в Чехословакии [8].

К 1926 г. относится отзыв академика Е. Ф. Карского и о чисто филологических докладах К. А. Пушкаревича, представленных для получения дополнительной научной квалификации по старославянскому языку: «Три доклада Пушкаревича (Современное состояние вопроса о старославянском ѣ; Проблема славян/ского/ императива и Киевские глаголич/еские/ листки) обнаруживают обстоятельное знакомство автора с литературой предмета, умение его разбираться в очень сложных вопросах старославянского языка и способность /составить/ свое собственное мнение по изучаемым вопросам» [9].

Подготовленность в различных областях славяноведения и опыт преподавания литератур и языков разных славянских народов сочетались у К. А. Пушкаревича с большой работоспособностью. В ИЛЯЗВ'е он был утвержден научным сотрудником I разряда и остался в этой должности до 1932 г. в образованном на основе ИЛЯЗВ'а Государственном институте речевой культуры. С 1925 г. К. А. Пушкаревич в течение многих лет

читал лекции в ЛГУ; по совместительству он преподавал также на Польском отделении Педагогического института имени А. И. Герцена и в Педагогическом институте имени М. Н. Покровского, в 1925—1927 гг. заведовал библиотекой Северо-Западной областной торговой палаты и Ленинградской товарной биржи [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 12—12об.].

Сохранившиеся отрывочные сведения позволяют составить лишь приблизительное представление о тематике читавшихся К. А. Пушкаревичем курсов и проводившихся им практических занятий. Известно, однако, что в разных вузах и в разное время он преподавал историю сербской литературы, чешскую литературу XIX в., чешский язык, этнографию Польши, историю белорусской и украинской литератур, введение в славянскую филологию [10; 5. Оп. 14. Д. 206. Л. 292, 135; 11. Оп. 31. Д. 154. Л. 10; 6. Д. 37. Л. 51—60].

Столь же разнообразными были и научные интересы К. А. Пушкаревича. В списке его работ от 28 января 1940 г. (за пределами которого остался «Ряд рецензий в разных советских периодических изданиях и свыше 30 статей в Сов/етской/ Энциклопедии и Л/итературной/ Э/нциклопедии/»), числится 19 статей, брошюр и учебных пособий по различным вопросам польско-русских и польско-французских, украинско-чешских и русско-чешских литературных и культурных связей, о современной болгарской и сербохорватской литературе, творчестве польского поэта Ю. Тувима и др. [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 15].

Начал К. А. Пушкаревич в 1924 г. с популярной статьи «Русско-чешские литературные связи», распространенной «Объединенным бюро информации Комиссии заграничной помощи при ЦИК РСФСР» на русском и иностранных языках. Затем он выступил в белорусских литературных журналах со статьей о творчестве Ю. Тувима и с рецензией на книгу французского журналиста Р. Мартеля «Польша и мы», посвященную политическому взаимодействию Франции и Польши [12; 13], опубликовал в научной периодике статьи с кратким анализом переводов на украинский язык стихотворений Ф. Л. Челаковского и так называемой «Краледворской рукописи» [14; 15]. В 1930 г. в брошюре — приложении к журналу «Человек и природа» — опубликован краткий очерк К. А. Пушкаревича о современной болгарской и сербохорватской литературах [16]. Автору в целом удалось дать советскому читателю представление о направлениях в сербо-хорватской и особенно в болгарской литературе, об особенностях историко-культурного развития, обусловившего своеобразие их формирования, крупнейших писателей. Зачастую, правда, оценки Пушкаревича грешат чрезмерной прямолинейностью и антибуржуазным культурным нигилизмом: он утверждает, например, что драмы крупного болгарского писателя К. Величкова «художественными достоинствами не отмечены», что в произведениях другого выдающегося представителя болгарской литературы А. Страшимирова отсутствует «художественная мера», а замечательного поэта, тонкого лирика К. Христова однозначно характеризует как создателя «ура-патриотических стихов». С другой стороны, вряд ли вполне справедливы заявления автора, что «пролетарская литература Болгарии наших дней не выдвинула еще крупных писателей и поэтов» и что сербохорватская литература «старается порвать старые традиции ... обращаясь, естественно, на Запад».

Преподавательскую и научную работу К. А. Пушкаревич сочетал с общественной деятельностью, которой начал заниматься еще в Томске. Перечисляя в 1940 г. свои общественные обязанности, он особо останавливался на деятельности во Всесоюзной ассоциации работников науки и техники в помощь социалистическому строительству в СССР (ВАРНITCO), куда вступил в 1930 г. [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 12—12об.]. Подчеркивание Пушкаревичем членства в ВАРНИТСО неудивительно: даже только участие в этой организации, члены которой были обязаны вести «беспощадную

борьбу» против «вредителей» среди интеллигенции и при вступлении проходили тщательную идеологическую и политическую проверку [17], свидетельствовало о его благонадежности. К. А. Пушкаревич быстро выдвинулся в число функционеров ВАРНИТСО: в 1931—1933 гг. он был ответственным секретарем коллектива ассоциации при Ленинградском институте истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ), в 1932 г.— делегатом на 2-ю всесоюзную конференцию ВАРНИТСО, в 1933—1935 гг.— членом президиума Ленинградского городского комитета ассоциации, затем до закрытия ВАРНИТСО в 1939 г.— членом ее ревизионной комиссии [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 12—12об.]; видимо он, не мог остаться в стороне от борьбы с инакомыслящими, но фактами подобного рода мы не располагаем.

В 1931 г. в Ленинграде, в системе Академии наук был организован Институт славяноведения под руководством Н. С. Державина. Пушкаревич стал одним из семи сотрудников этого малочисленного коллектива, заняв должность старшего ученого хранителя (с 1933 г. до закрытия Института в 1934 г. он был старшим ученым специалистом) [2. Оп. 7. Д. 419. Л. 4; 4. Д. 5. Л. 1; Д. 7. Л. 1об.; Д. 26. Л. 12]. Краткий период работы в Институте славяноведения — наиболее плодотворный в научной деятельности К. А. Пушкаревича. Ориентация Н. С. Державина на развитие комплексного подхода к славистике [18; 4. Д. 7. Л. 1об.] в наибольшей степени отвечала широким славистическим интересам ученого. Он полностью принимал также другие положения концепции «нового» славяноведения — признание основополагающего значения марксистско-ленинской методологии (часто, впрочем, подменявшейся вульгарно-социологическими построениями) и «нового учения о языке» Н. Я. Марра. Наконец, на научной деятельности Пушкаревича не могли не сказаться характерные для того времени тенденции тотальной идеологизации и политизации общественной жизни.

Работу в Институте славяноведения К. А. Пушкаревич начал с организации институтской библиотеки. Ему удалось договориться с Библиотекой Академии наук, в помещении которой располагался Институт, о выделении из ее фондов соответствующей литературы (пользование славистическими фондами БАН было затруднено после упразднения в ходе ее реорганизации в 1930 г. Славянского отделения БАН и включения его книг в общий фонд) [3. Оп. 3. Д. 43. Л. 2—3; 19; 20]. Вскоре в библиотеку Института поступил также ряд ценных книжных коллекций — часть библиотеки бывшей Византийской комиссии, библиотека казанских славистов М. П. и Н. М. Петровских, книги В. Н. Перетца, Н. М. Гальковского, М. Н. Сперанского, Н. С. Державина и др. [4. Д. 7. Л. 9, 10об.; Д. 15. Л. 47; Д. 29. Л. 54об.; 21].

Научные работы, опубликованные в 1931—1934 гг., были подготовлены К. А. Пушкаревичем преимущественно в рамках Института. Они в основном продолжали историческое направление в исследованиях ученого, хотя были и некоторые исключения. В 1931 г. Пушкаревич напечатал в СССР статью «Об одной польской переделке комедии А. Грибоедова „Горе от ума“», где перенесение А. Коженевским на польскую почву знаменитой грибоедовской пьесы объясняется стремлением пользоваться ею «как своего рода формулой для сатиры на современное ему разлагающееся под влиянием капитализма польское общество» [22]; в Германии в том же году им было впервые опубликовано письмо Э. Ожешко к М. Е. Салтыкову-Щедрину от 31 октября 1882 г. с подробным комментарием [23].

Для работ К. А. Пушкаревича этого времени по-прежнему характерно разнообразие сюжетов, но их объединяют два общих признака: как правило, они посвящены славяно-русским связям и вводят в научный оборот неопубликованные архивные материалы. Последнее оказалось весьма плодотворным — К. А. Пушкаревич впервые публикует интересные источники из архивов СССР, посвященные преследованию царскими властями участ-

ников польского восстания 1830—1831 гг. и русификаторской политике в последующие годы [24], неизвестным ранее подробностям учебы в России выдающихся деятелей сербского и болгарского революционного движения С. Марковича и Д. Благоева [25; 26]. Марковичу посвящена и специальная работа объемом 3 авторских листа, которая осталась неопубликованной [4. Д. 12. Л. 1; Д. 32. Л. 12об.—13]. Публикации позволили привлечь внимание славистов к хранящимся в советских архивах документам по истории зарубежного славяноведения и русско-славянских научных связей [27; 28].

Ряд найденных К. А. Пушкаревичем материалов им опубликован не был: в частности, документы из архива В. И. Ламанского, обнаруженные в Славянском кабинете ЛИФЛИ и переданные в Архив Академии наук [4. Д. 12. Л. 3].

Н. С. Державин считал одной из задач Института славяноведения исследование проблем украиноведения и белорусоведения. Это направление развивала рекомендованная Н. С. Державиным в «Известия Академии наук СССР» статья К. А. Пушкаревича «Преобразование духа народности: (Эпизод из истории русификации Белоруссии)» [29], в которой автор решительно осуждает политику царского правительства в отношении белорусского народа, но вместе с тем допускает упрощенный подход к теме, рассматривая лишь проявления борьбы властей с народной культурой. Наряду с положением белорусского народа в статье уделено также значительное внимание методам решения в дореволюционной России «польского вопроса». Называя вслед за Ф. Энгельсом польское восстание 1830 г. «консервативной революцией», автор отмечал, что «польский вопрос» выявил в России две «враждебные идеологии» — революционную и помещичье-дворянскую. В этой связи он упрощенно оценил отклик А. С. Пушкина на события 1830—1831 гг., однозначно определив стихотворение «Клеветникам России» как «программу для реакционных кругов русского общества в польском вопросе», а формулу «славянские ручьи сольются в русском море» как «боевой лозунг» этих кругов.

Как сотрудника Института славяноведения и преподавателя высших учебных заведений, К. А. Пушкаревича не могли не волновать вопросы подготовки кадров славяноведов. Этому посвящены два неопубликованных документа. Один из них, сохранившийся в архиве Н. С. Державина [3. Оп. 5. Д. 133. Л. 1—5], написан в начале 1930-х годов и представляет собой черновик статьи К. А. Пушкаревича «Славянские языки в ЛИФЛИ». Констатируя, что ЛИФЛИ, где изучаются западно- и южнославянские языки, а также предполагается расширить преподавание славянских литератур, «становится единым центром... изучения группы славянских народов в их языковых, литературно-художественных, бытовых и социальных явлениях» и обосновывая необходимость создания в СССР такого центра возросшим в Европе после первой мировой войны интересом к славянским странам, проживанием в СССР представителей всех этнических групп славян, он подчеркивал, что изучение славянских языков в стране приобретает не только научное, но и практическое, и культурно-политическое значение. В заключение автор выражает надежду, что ЛИФЛИ «создаст новые кадры лингвистов-славистов», «вооруженных марксистско-ленинским методом», которые очистят славяноведение от «филологического формализма». В другом, не датированном документе, озаглавленном «О необходимости организации изучения славянской литературы» [3. Оп. 3. Д. 62. Л. 33—34; 6. Д. 21. Л. 1], Пушкаревич писал о недопустимости с точки зрения марксистско-ленинской теории изучения истории литературного процесса в рамках лишь одной национальной литературы и настаивал на необходимости изучения славянских литератур для уяснения ряда явлений в истории русской культуры, начиная с южнославянского влияния на древнерусскую письменность и литературу Древней Руси.

Основной формой работы сотрудников Института славяноведения были доклады. К. А. Пушкаревич выступал в Институте часто и по весьма разнообразным проблемам (например, с докладами «Из прошлого Серболужицкой матицы», «Об устройстве православной церкви в Праге», «Бенеш и славянский вопрос» [4. Д. 12. Л. 1; Д. 32. Л. 12об.—13; Д. 15. Л. 64, 69, 86]). Два последних доклада свидетельствуют, во-первых, о том, что Пушкаревича в годы работы в Институте славяноведения продолжало привлекать не только прошлое, но и настоящее славянских народов, и, во-вторых, о его готовности разрабатывать «опасные», подвергавшиеся в 1930-е годы запретам проблемы церковной организации и истории церкви.

Пересматривая многие выводы дореволюционного славяноведения, сотрудники Института славяноведения не избежали серьезных ошибок. Они, в частности, упрощенно трактовали политику российских властей по отношению к славянству исключительно как реакционную. Отталкиваясь от такой предвзятой точки зрения, было намечено исследовать несколько тем; К. А. Пушкаревичу поручили изучить проблемы отношения русского самодержавия к «славянскому вопросу», славянофильства в России, политики царского правительства в отношении чешских колонистов, тему «Русский неославизм и польский вопрос» [4. Д. 23. Л. 9; Д. 25. Л. 9; Д. 15. Л. 4]. О характере исследований ученого можно составить представление по докладу «Участие славянских комитетов в Босно-Герцеговинском восстании (1876) и в русско-турецкой войне (1877—1878)», который послужил основой статьи с броским «антицаристским» названием [30].

В докладе и статье автор впервые при разработке данной темы привлек архивные материалы, но они были использованы неполно и не подверглись глубокому анализу. В результате были допущены фактические ошибки, оказались упущенными многие существенные детали событий, а само исследование приобрело характер очерка, в котором отношение славянских комитетов к балканским событиям показано лишь в общем виде. Нарисовав картину деятельности славянских комитетов, К. А. Пушкаревич сделал из своих наблюдений никак не соответствующий действительности вывод, что комитеты представляют собой классовые организации, пропитанные чуждой народу идеологией. Исходя из этого, отрицалась, вопреки фактам, массовая поддержка русским народом борьбы балканских славян за свободу и даже не признавалось национально-освободительным движение славян Боснии и Герцеговины — исследователь считал его «аграрным бунтом». Впоследствии С. А. Никитин отметил, что Пушкаревич «оказался полностью во власти представлений „школы“ Покровского», и его работа превратилась в «памфлет» [31]. Тем не менее, исследование Пушкаревича было первой попыткой изучить деятельность славянских комитетов России на новой документальной базе.

Многочисленные научные занятия К. А. Пушкаревича не помешали ему начать разработку еще одной, главной для него темы — истории чешских колоний в России. Образцом для себя ученый считал опубликованную еще в 1914—1915 гг. диссертацию Н. С. Державина «Болгарские колонии в России», которая, по его мнению, «наметила схему для будущего исследователя истории других славянских колоний» [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 62об.].

В 1931 г. в Институте славяноведения был обсужден первый доклад К. А. Пушкаревича, посвященный одной из частных проблем чешской колонизации в России — «Славянский паспорт» [4. Д. 3. Л. 6; Д. 7. Л. 7]. Летом 1932 г. во время командировки в Москву Пушкаревич изучал документы по истории чешской колонизации, хранящиеся в Центральном архиве [4. Д. 15. Л. 18]. Результатом стал доклад «Из истории начальных поселений в России: Приглашение чехов из Америки для заселения Амура в 60-е гг. XIX ст.» [4. Д. 15. Л. 22, 35, 42, 43], открывший специалистам не известный

ранее пласт материалов, связанных с планами использования чешских колонистов для развития Дальнего Востока. Чтение доклада «Чехи на Кавказе» было совмещено с обсуждением одной из глав монографии, над которой ученый работал. В 1933 г. был написан первый вариант монографии «Чехи в России» объемом 8 авторских листов, который был включен в издательский план на 1934 г. [4. Д. 24. Л. 6; Д. 25. Л. 9; Д. 37. Л. 12об.—13], но Институт был закрыт и работа в свет не вышла.

В решающей степени закрытие Института связано, видимо, с так называемым «делом славистов», по которому в начале 1934 г. была арестована большая группа ученых (в том числе некоторые сотрудники Института) и последовавшими затем гонениями на славяноведение как научную дисциплину [32; 33]. К. А. Пушкаревич не был репрессирован, но закрытие Института не могло не сказаться на его судьбе. Ученый был назначен заведующим (и единственным, по свидетельству Н. С. Державина, сотрудником) Кабинета славяноведения Библиотеки Академии наук, созданного на базе ликвидированного Института [2. Оп. 7. Д. 419. Л. 4; 3. Оп. 3. Д. 62. Л. 10]. Первоначально предполагалось, что в Кабинете будет вестись не только библиотечная, но и исследовательская, и архивная работа, однако ввиду крайне ограниченных возможностей соответствующие позиции не были даже включены в производственный план нового подразделения БАН [2. Оп. 3. 1934. Д. 4. Л. 5—7; 1935. Д. 16. Л. 5]. В 1936 г. Кабинет славяноведения был закрыт, а К. А. Пушкаревича перевели в Отдел систематизации и информации библиотеки [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 12об.; 2. Оп. 7. Д. 419. Л. 4].

За годы работы в БАН научная активность ученого несколько ослабла, но не прекратилась. К. А. Пушкаревич начал работать над монографией «Литература эпохи гуситских войн», дорабатывал монографию «Чехи в России», к 1935 г. разросшуюся до 20 печатных листов, причем значительная часть материала осталась за пределами исследования, ввиду этого Н. С. Державин писал о книге Пушкаревича как о первом томе его работы [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1196. Л. 28, 32].

Научные труды К. А. Пушкаревича, его многолетняя работа в научно-исследовательских учреждениях и высших учебных заведениях позволили Н. С. Державину после завершения ученым нового варианта «Чехов в России» поставить в ЛИФЛИ вопрос о присвоении ему кандидатской степени без защиты диссертации. Постановление Совнаркома СССР от 13 января 1934 г. «Об ученых степенях и званиях» [34] предусматривало такую возможность — на основе решений специальных квалификационных комиссий, которые обретали силу после утверждения в Москве.

В составленном 27 сентября 1935 г. отзыве о трудах К. А. Пушкаревича Н. С. Державин, отметив «научную ценность и свежесть» его работ, особенно высоко оценил упомянутые исторические исследования ученого «Балканские славяне и русские „освободители“» и «Чехи в России». О последней монографии было сказано, что Пушкаревич «привлек к разработке совершенно новый архивный материал, ярко освещающий политику царизма в так называемом „славянском вопросе“». Н. С. Державин ссылался на „хороший отзыв членов чешской секции Коминтерна об этой работе“. Фрагмент последнего отзыва сохранился лишь в виде выписки. Он составлен по поручению чешской секции Коминтерна Я. Прохазкой и, кроме общей положительной оценки рукописи, содержит предложение издать ее в Чехословакии [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1196. Л. 31—32, 19].

В отзыве Державина не указано, по какой специальности он предлагает присудить К. А. Пушкаревичу кандидатскую степень. Это, вместе с другими причинами, сыграло отрицательную роль: с присвоением Пушкаревичу кандидатской степени началась длительная бюрократическая волокита, завершившаяся направлением весной 1938 г. его диссертационного дела из

Москвы на окончательное решение в ЛГУ. Вместе с делом в Ленинград пришел отзыв известного московского литературоведа Н. К. Гудзия от 19 марта 1938 г., в котором подчеркивался исторический характер главных работ соискателя и весьма сдержанно оценивались научные достоинства его работ в области славянской филологии, но в то же время отмечалась тщательность их выполнения и добросовестность автора. В заключение Н. К. Гудзий характеризовал К. А. Пушкиревича как «полезного работника» «в обширной области славяноведения» и делал вывод о возможности присвоения ему степени кандидата филологических наук. 10 мая 1938 г. диссертационное дело К. А. Пушкиревича было рассмотрено кафедрой русского и славянских языков, на которой преподавал соискатель, а 17 мая по ходатайству филологического факультета ученый совет ЛГУ утвердил, наконец, К. А. Пушкиревича в ученой степени кандидата филологических наук. 11 октября 1939 г. Высшая аттестационная комиссия присвоила ему звание доцента [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1196. Л. 1, 10, 11, 13; Д. 1382. Л. 12].

Годы прохождения по инстанциям кандидатского «дела» были для К. А. Пушкиревича очень нелегкими. К неурядицам с присвоением степени прибавилась утрата рукописи «Чехов в России». Видимо, благодаря содействию работавших в СССР чешских коммунистов, рукопись эта попала в Чехословакию. В 1937 г. с ней познакомился известный чешский ученый, председатель Чехословацкого общества культурных и экономических связей с СССР З. Неedly. Он хотел, чтобы книга была напечатана в одном из изданий Славянского института в Праге, и в связи с этим работа Пушкиревича оказалась на рецензировании у советского посла в Чехословакии С. С. Александровского. Как она была утрачена, неясно, однако З. Неedly заявлял впоследствии, что печатание книги Пушкиревича не удалось «по обстоятельствам неожиданным», а Н. С. Державин свидетельствовал, будто бы рукопись «в конце концов ушла» из рук ученого и больше к нему не вернулась [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 67, 79; Д. 1196. Л. 18].

Ожидая присвоения, а, может быть, опасаясь отказа в получении кандидатской степени, К. А. Пушкиревич стал, согласно некоторым данным, готовить новую диссертационную работу, посвященную языку-белорусским летописей. С преподавательской работой Пушкиревича был связан литографированный курс лекций по старославянскому языку, читанный в Педагогическом институте имени М. Н. Покровского (10 листов) и краткий учебник чешского языка для гидов Интуриста (8 листов), написанный совместно с Л. Лускачем. Пушкиревич написал также оставшийся неопубликованным и не дошедший до нас очерк истории Чехии в XI—XVII вв., составлял вместе с Н. С. Державиным объяснительные записки к картам Большого советского атласа мира [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1196. Л. 11, 18].

Единственная научная статья, которую К. А. Пушкиревичу удалось опубликовать во второй половине 1930-х годов, формально посвящена оценке А. Н. Пыпиным творчества Н. А. Некрасова. Однако это сделано в рамках характеристики чешско-русских связей, одним из проявлений которых стала публикация письма Пыпина В. Ганке о русской литературе в «*Časopis Českeho Muzeum*»; в статье Пушкиревича это письмо, проанализированное лишь в части, относящейся к Некрасову, рассматривается на фоне истории борьбы чешского народа за национальную независимость и связанного с ней роста в XIX в. интереса чехов к России [35].

Что же касается собственно славянских литератур, то подготовленные ученым в то время материалы за исключением статей справочного характера не были опубликованы. Во многом это было связано с общим состоянием науки в Советском Союзе, где тоталитарная система препятствовала даже минимальной самостоятельности научных суждений и оценок в гуманитарных областях знания. Примером может служить судьба письма

К. А. Пушкаревича с критикой публикации в журнале «Новый мир» (1939, № 4) «Краледворской рукописи» в переводе известного писателя И. Новикова. Ученый привел уже давно ставшие бесспорными факты, свидетельствующие в пользу подложности этого «памятника». Он отметил, что эту позицию разделяет и ряд крупных чешских ученых, а также подчеркнул, что ее придерживаются «такие представители передовой чешской общественности, как Томаш Масарик и Зденек Неедный» (упоминание Т. Масарика в данном контексте свидетельствует о широте взглядов Пушкаревича, осмелившегося идти вразрез с официальной точкой зрения на Масарика). В заключение К. А. Пушкаревич, может быть излишне резко, но по существу справедливо оценил «благие намерения Ивана Новикова» (и, не называя ее, редакции «Нового мира») как «медвежью услугу» чешскому народу, вызванную бездумным желанием перевести и напечатать фальсификат в Советском Союзе в пику запретившим его фашистам, оккупировавшим Чехословакию. Письмо было возвращено автору «за невозможностью его использовать» без каких-либо объяснений по существу вопроса [6. Д. 15. Л. 1, 2—7].

Единственной возможностью для К. А. Пушкаревича реализовать в печати свои знания в области славяноведения оказалось сотрудничество в энциклопедических изданиях. Наладить его ученый пытался еще во время работы в Институте славяноведения. Вместе с сотрудником Института В. Н. Кораблевым он участвовал в составлении словника Большой Советской Энциклопедии по разделу сербо-хорватской литературы, писал статьи по чешской, хорватской и словенской литературам, готовил статью о Хорватии. Однако планы сотрудничества Института с редакцией БСЭ не осуществились — подготовленные в Институте статьи не были опубликованы в Энциклопедии. Не реализованными в печати остались и статьи, написанные К. А. Пушкаревичем для Театральной энциклопедии, работа над которой велась в середине 1930-х годов [4. Д. 12. Л. 3; Д. 15. Л. 47, 60, 101, 104; 5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1196. Л. 28].

Более плодотворными оказались результаты участия К. А. Пушкаревича в работе над «Путеводителем по Пушкину» [36], который по существу являлся первым опытом советской персональной энциклопедии. Здесь ученому принадлежат статьи «Костюшко», «Олизар», «Польская революция 1830—1831 гг. и Пушкин», весьма возможно, и ряд неподписанных словарных статей на славистические темы.

Во второй половине 1930-х годов статьи К. А. Пушкаревича начали наконец публиковаться в БСЭ и в Литературной энциклопедии. К началу января 1940 г. их было напечатано «свыше 30» [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 15]. Довольно много статей и заметок энциклопедического характера сохранилось в архиве Пушкаревича [6. Д. 4, 13, 14, 16, 18, 19]. Анализ совокупности этих материалов позволяет вполне определенно установить авторство Пушкаревича в отношении следующих статей: БСЭ — Незвал В., Нейман С. К., Немцова Б., Пальмотич Д., Пандурович С., Прешерн Ф.; ЛЭ — Сташек А., Тильшова А., Тыл Й. К. Весьма вероятно, что ученому принадлежит еще ряд статей в БСЭ и ЛЭ о чешских, словацких и хорватских писателях. Несколько статей энциклопедического характера, сохранившихся в архиве Пушкаревича в виде рукописей, предназначались для 9 и 11 томов ЛЭ, которые не вышли в свет; наиболее крупные из них — «Словацкая литература» и «Чешская литература» были подготовлены в конце октября 1937 г. В этих, по необходимости очень кратких, очерках Пушкаревич обратил максимум внимания на историческую обстановку в Чехии и Словакии в различные периоды их литературного развития. В других опубликованных и неопубликованных статьях ученого, посвященных отдельным писателям, наоборот, почти нет исторического фона; в соответствии с принятой в советских энциклопедиях тех лет практикой в них почти не даются также биографические сведения об ученых, и соответствующие

статьи приобретают в силу этого характер кратких социологизированных обзоров произведений.

К. А. Пушкиревич занимался также переводами. В январе 1940 г. он отмечал, что «перевел на русский язык 8 книг — со словацкого, чешского, болгарского, белорусского языка», которые «изданы ГИХЛ'ом» [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 15]. Большая часть этих изданий вышла, видимо, без имени переводчика, во всяком случае удалось разыскать только две книги и одну журнальную публикацию в переводах Пушкиревича. В 1929 г. в Ленинграде был издан роман болгарского писателя А. Страшимирова «Хоровод», переведенный Пушкиревичем совместно с Д. Димитровым. В предисловии к книге переводчики отмечали талантливое и правдивое изображение разгрома правительством А. Цанкова Сентябрьского антифашистского восстания 1923 г. и назвали произведение «приговором, вынесенным народной совестью „культурной“ болгарской буржуазии».

Роман, посвященный актуальной антифашистской теме, вызвал довольно многочисленные отклики в советской печати. Примечательно, что в некоторых рецензиях было указано на недостатки перевода.

В 1930 г. в популярном журнале «Вокруг света» (№ 34) К. А. Пушкиревич под заглавием «Казарма» опубликовал перевод отрывка из романа известного словацкого писателя М. Урбана «Живой быч», посвященного событиям 1918 г. в словацкой деревне. Переводчику в полной мере удалось здесь передать трагедию положения словацких крестьян, призванных в австро-венгерскую армию. Интерес Пушкиревича к словацкому социальному роману проявился также в выборе им для перевода произведения П. Илемницкого «Невспаханное поле», вышедшего в СССР в 1936 г.

Присвоение кандидатской степени и утверждение в звании доцента свидетельствовали о признании в научных кругах авторитета Пушкиревича как ученого. В декабре 1939 г. он был зачислен на должность старшего научного сотрудника в Институт этнографии АН СССР. Весной 1940 г. Н. С. Державин отмечал, что славист «в кругу специалистов пользуется уже достаточной известностью... для защиты докторской диссертации» [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 12—12об., 66].

В начале 1940 г. К. А. Пушкиревич представил в Ученый совет филологического факультета ЛГУ для защиты в качестве диссертации на степень доктора филологических наук восстановленный текст монографии «Чехи в России» (около 17 листов). Рукопись диссертации, сохранившаяся в архиве ученого [6. Д. 1], состоит из введения, трех частей и приложений.

Во введении автор характеризует задачи и источниковую базу исследования. Главы первой части посвящены различным проектам привлечения чехов для заселения территорий Дальнего Востока, отошедших к России после подписания Айгунского договора 1858 г. о русско-китайской границе. Наиболее подробно К. А. Пушкиревич останавливается на проекте чиновника Сибирского комитета Корсакова (1861), предусматривавшего предоставить чешским поселенцам значительные преимущества сравнительно с коренным населением. Проект характеризуется в диссертации как рассчитанный на поднятие престижа русского самодержавия и призванный подчеркнуть его всемирно-историческую роль в отношении угнетенного славянства. Значительный интерес представляет глава «Вопрос о переселении чехов на Амур в славянофильской периодической печати»: здесь рассказано о позициях по данному вопросу не только русских славянофильских изданий, но и чешских органов печати различных политических направлений, выходящих в Австро-Венгрии и США.

Во второй части диссертации рассмотрены проекты царского правительства по переселению чехов на юг России и на Кавказ в 60-е годы XIX в., а также некоторые практические мероприятия славянофильских кругов в этом направлении. Интерес широких кругов чешской общественности к

России обусловил отношение русских «реакционных кругов» к чешской эмиграции как к одной из сил, способных укрепить «славянские начала самодержавия, православия и народности» на окраинах Русского государства; диссертант обвиняет «определенные круги чешской буржуазии» в использовании «славянских чувств» русского правительства для достижения своих классовых и даже личных интересов, одним из проявлений чего был план «колонизации Кавказа», выдвинутый депутатом чешского сейма Петричкой [6. Д. 1. Л. 3].

В отличие от рассмотренных в первой и второй частях диссертации проектов чешской колонизации, не давших, по существу, практических результатов, третья ее часть «Чехи на Волыни» посвящена практическому ходу колонизационных процессов в 1870—1897 гг. К. А. Пушкиревич связывает успехи в переселении чехов на Волынь с наличием там свободных земель, образовавшихся в результате ликвидации польского землевладения после подавления восстания 1863 г. В специальной главе приводятся ценные статистические сведения о чешском землевладении на Волыни, о количестве там чешского населения, его социальном составе и т. д. Особое внимание уделено методам и формам политики представителей правительства на Волыни, которую автор диссертации считает «русификаторской»; в поддержке этой политики он обвиняет чешскую буржуазию, стремящуюся якобы при всякой возможности демонстрировать свои патриотические чувства и уверять представителей власти, что все чешское население Волыни готово слиться с русскими по языку и вере и обратиться в верноподданных «чехо-руссов».

В приложениях к диссертации содержится обзор чешской периодической печати, изданной в России до 1917 г., и сведения о чешских населенных пунктах на Волыни по состоянию на 1907 г.

В докторской диссертации К. А. Пушкиревич придерживается типичных в то время упрощенных оценок и выводов, в то же время она основана на огромном, не известном ранее архивном материале, который вместе с оригинальностью ее тематики делает этот капитальный труд ценным даже для читателя конца XX в. Вполне естественно поэтому, что официальные оппоненты, в число которых входили крупнейшие советские ученые довоенного периода — филолог Н. С. Державин, этнограф Д. К. Зеленин и историк З. Р. Неедлы единодушно дали работе Пушкиревича чрезвычайно высокую оценку. З. Р. Неедлы отметил, в частности, что автор труда «Чехи в России» не только овладел темой, но и «показал понимание смысла и характера истории чешского народа», а член-корреспондент АН СССР Д. К. Зеленин подчеркивал «широту и глубину» анализа диссертантом «чешского вопроса» в России, назвав его работу «выдающимся трудом в нашей славяноведческой научной литературе». Что же касается Н. С. Державина, которому импонировал классово-политический подход диссертанта к теме, то он писал о «безукоризненности» методологии Пушкиревича, вскрывшего «лицемерную ложь славянофильствующих кругов русской дворянско-помещичьей общественности, прикрывавшей широковетательными гуманными лозунгами свои узко-классовые интересы» [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 54, 52—53, 27].

Было, однако, у диссертации одно уязвимое место: являясь по существу исторической работой, она представлялась для защиты в качестве филологического исследования. В отзывах официальных оппонентов эта проблема обойдена, почти не прозвучала она и во время защиты.

Защита К. А. Пушкиревичем докторской диссертации состоялась 21 апреля 1940 г. Во вступительном слове автор заявлял, что сознательно оставил за пределами труда вопросы языка, фольклора и этнографии чешского населения. «Я никогда не терял из виду основной своей задачи — исследования чешско-русских взаимоотношений вообще... — заявлял ученый. — Собранный мною значительный материал для следующих разделов схемы...

я не включил пока в свою монографию». Попытка Пушкаревича хоть как-то объяснить отсутствие в диссертации филологического материала не вызвала заметной реакции оппонентов. Только Д. К. Зеленин упомянул в выступлении на защите, что материалы Пушкаревича «очень обогащают историю литературы, в частности историю этнографии», но этому утверждению не соответствовало его предложение «изменить заглавие работы на „Чешский вопрос в России“», поскольку ее темой является «исключительно чешский вопрос как часть славянского вопроса в целом». Ученый совет филологического факультета ЛГУ присвоил К. А. Пушкаревичу исковую степень [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 57, 62об.—63, 77, 91].

Однако против решения ученого совета выступил профессор ЛГУ В. Г. Чернобаев, ознакомившийся с диссертацией Пушкаревича по поручению университетского начальства. Спустя два месяца после защиты он представил отзыв, крайне негативно оценивший труд Пушкаревича. В отзыве содержались вряд ли справедливые обвинения в «общей методологической беспомощности» автора и его «полной зависимости» от архивных материалов, но вместе с тем правильно отмечалось, что филологические вопросы, «связанные, скажем, с литературными чешскими деятелями..., с бытом чешских колонистов, их фольклором, особенностями языка» затронуты диссертантом лишь «в виде мимоходом брошенных замечаний, которым сам автор не придает особого значения» [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 38—43].

Уязвленный Н. С. Державин немедленно выступил в защиту своего ученика. Разобрав отзыв В. Г. Чернобаева в особом заключении, он расценил его как «донос» и отверг все претензии к автору диссертации. Вопреки очевидным фактам Державин высказал мнение, что работа Пушкаревича «посвящена критике и разоблачению лицемерной лжи славянофильства дворянско-бюрократических правящих верхов русского царизма, представляет собою прежде всего филологическую работу в советском понимании содержания и метода этой науки», а позиция Чернобаева отличается «ограниченным методологическим кругозором» и является «явно антисоветской, антиобщественной» [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 48—56]. Видимо, отзыв Н. С. Державина нейтрализовал возражения Чернобаева: 10 ноября 1940 г. ВАК утвердила К. А. Пушкаревича в ученой степени доктора филологических наук [5. Оп. 12. Ч. 1. Д. 1382. Л. 2].

Защитив диссертацию, К. А. Пушкаревич перешел на работу в Институт языка и мышления на должность старшего научного сотрудника Кабинета славянских языков [37], одновременно он продолжал преподавать в университете. В 1941 г. К. А. Пушкаревич остался в осажденном Ленинграде. В июле 1941 г. им был составлен текст обращения кафедры славянской филологии в связи с заключением советско-чехословацкого соглашения 1941 г. о совместных действиях в войне против фашистской Германии, где говорилось об «одном из первенствующих мест» чехов в ряду славянских народов как «высококультурной славянской нации» и было высказано убеждение, что с гитлеризмом «борьба должна вестись силами всех славянских народов и всего передового человечества» [6. Д. 38. Л. 2—4]. В августе ученый был назначен заведующим кафедрой славянской филологии, одновременно он заведовал кафедрой русской литературы [1. Л. 2]. Из сохранившегося отчета К. А. Пушкаревича о работе с 1 августа по 1 ноября 1941 г. видно, что основная его деятельность была подчинена задачам военного времени. Он составлял чешско-русский военный разговорник, занимался составлением чешско-русского военного словаря, читал в воинских частях и госпиталях лекции «на темы о славянах и освободительной войне». Кроме того, Пушкаревич продолжал начатую до войны работу над словарем старославянского языка, составлял хрестоматию по чешскому языку, писал этнографические очерки о чехах и словаках [6. Д. 39. Л. 1—1об.].

Очерк «Чехи» удалось опубликовать в Свердловске отдельной брошюрой,

вышедшей летом 1942 г. уже после кончины Пушкаревича [38]. Очень кратко, в популярной форме Пушкаревич изложил в очерке основные события истории чешского народа с древнейших времен до полной ликвидации самостоятельности Чехословакии в марте 1939 г. Он затронул такие почти неизвестные массовому читателю темы, как древнейшие судьбы чешского народа, образование Чешского государства в средние века, положение Чехии накануне гуситских войн и значение этих войн для истории Чешских земель. Последний раздел работы К. А. Пушкаревича посвящен Чехословацкой республике; наибольшее место здесь занимают географические и этнографические описания. Завершается работа характеристикой того тяжелого положения, в котором оказался чешский народ в результате агрессии германского фашизма. Рукопись очерка «Словаки» осталась неопубликованной.

Тяжелые условия блокады не могли не отразиться на силах и здоровье К. А. Пушкаревича. 28 февраля 1942 г. он был официально исключен из числа сотрудников ЛГУ «за смертью». Ленинградский славист С. С. Советов в письме Н. С. Державину от 11 сентября 1943 г. вспоминал «о трагической судьбе К. А. Пушкаревича, с которым я встречался незадолго до его смерти. Помню, в академической столовой мы беседовали с ним вдвоем. Он был полон жизни, строил радужные планы о будущей работе, укорял меня немножко за то, что я замкнулся только в полонистике, обещал быть моим руководителем и даже мы наметили с ним одну общую работу. Но этому не удалось сбыться. Я был отправлен в стационар Дома ученых, а он в „Асторию“. Я кое-как выкарабкался на свет божий, а его организм не выдержал. Его гибель особенно тяжело подействовала на меня...» [3. Оп. 4. Д. 509. Л. 3—4].

К. А. Пушкаревич был одним из немногих в межвоенные годы советских славяноведов, серьезно разрабатывавших широкий спектр проблем всего комплекса славистических дисциплин. Филолог по образованию, он по существу стал первым советским специалистом, занявшимся не только культурными, но и социально-экономическими, и политическими межславянскими связями. Тяжелая для советской науки обстановка 1920—1930-х годов не могла не отразиться на направленности творческих замыслов ученого и их судьбе, на качестве научной продукции Пушкаревича. Обстоятельства сложились так, что наиболее фундаментальное исследование слависта — диссертация «Чехи в России» — оказалась погребенной в архивах и не стала достоянием последующих поколений исследователей.

Несмотря на характерные для своего времени недостатки, лучшие из трудов К. А. Пушкаревича отличаются фундированностью и до сих пор представляют не только историографический интерес. Плодотворна и деятельность ученого по подготовке новых славистических кадров. Но самое важное состоит в том, что К. А. Пушкаревич не отступился от славяноведения в тяжелые для него годы и вплоть до своей трагической кончины принимал деятельное участие в возрождении любимой науки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архив ЛГУ. Личный стол. Оп. 3. Св. 41. Д. 1464.
2. Ленинградское отделение Архива Академии наук СССР (ЛО ААН). Ф. 158. Библиотека Академии наук СССР.
3. ЛО ААН. Ф. 827. Николай Севастьянович Державин.
4. ЛО ААН. Ф. 220. Институт славяноведения АН СССР. Оп. 1
5. Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства г. Ленинграда (ЦГАОРССЛ). Ф. 7240.
6. ЛО ААН. Ф. 792. Константин Алексеевич Пушкаревич. Оп. 1.
7. Гординов А. Н. О подготовке славистических кадров в Ленинградском университете (1920-е годы)//Историографические исследования по славяноведению и балканистике. М., 1984. С. 272—273.

8. *Логачев К. И.* Первый этап развития советского славяноведения: (Славистические учреждения Академии наук в 1917—1934 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. М., 1979. С. 59—62.
9. Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ). Ф. 1000. Д. 1130. Л. 36.
10. Обзорные преподавания на Факультете языковедения и материальной культуры (ЯМФАК) Ленинградского государственного университета на 1926/27 учебный год. Л., 1926.
11. ЦГАОРССЛ. Ф. 4331.
12. *Пушкарэвіч К. Ю.* Тувим (Поэта сучасный Польшчы)//Узвышша. Менск. 1928. № 3. С. 158—164.
13. *Пушкарэвіч К.* Польшча і Францыя//Польша. 1929. № 8. С. 118—125.
14. *Пушкарэвіч К. А. Ф. Л.* Челякoвский в украинских переводах//Slavia, 1929/1930. № 2. С. 289—296.
15. *Пушкарэвіч К.* Королеводірський рукопис в українських перекладах//Збірник історично-філологічного відділу ВУАН. Київ, 1928. № 74 б. С. 115—122.
16. *Клименко Е.* Основные течения в современной английской литературе: Пушкарэвіч К. Современная болгарская и сербохорватская литература. Л., 1929.
17. *Гудзь А., Ульяновская Б.* ВАРНИТСО. Цели и задачи. М., 1931. С. 3.
18. *Державин Н. С.* Наши задачи в области славяноведения//Труды Института славяноведения Академии наук СССР. М.; Л., 1932. Т. 1. С. 1—14.
19. История Библиотеки Академии наук СССР, 1714—1964. М.; Л., 1964. С. 386—387.
20. *Комарова В. П.* Чешские книги в Славянском фонде Библиотеки Академии наук СССР//Литературные связи славянских народов. Л., 1988. С. 385—386.
21. *Горяинов А. Н., Кишкин Л. С.* Книжное собрание М. П. и Н. М. Петровских//Советское славяноведение. 1986. № 5. С. 80—86.
22. Язык и литература. 1930. Т. 5. С. 213—226.
23. *Puškarėvič K.* Ein Brief von E. Orzeszkova an Saltykow-Scedrin//Zeitschrift für Slavische Philologie. 1931. Bd. 8. S. 433—436.
24. *Пушкарэвіч К. А.* Из истории польской революции 1830—1831 гг.//Труды Института славяноведения Академии наук СССР. М.; Л., 1932. Т. I. С. 337—344.
25. *Пушкарэвіч К. А.* Светозар Маркович в Петербурге. (Материалы к биографии.)//Труды Института славяноведения Академии наук СССР. М.; Л., 1932. Т. I. С. 345—349.
26. *Пушкарэвіч К. А. Д. Н.* Благоев — студент СПб. университета//Труды Института славяноведения Академии наук СССР. Л., 1934. Т. 2. С. 121—127.
27. *Пушкарэвіч К. А.* Автобиографическая записка Вука Ст. Караджича//Труды Института славяноведения Академии наук СССР. Л., 1934. Т. 2. С. 149—159.
28. *Пушкарэвіч К. А.* Записка ученых членов Сербо-лужицкой матицы//Труды Института славяноведения Академии наук СССР. Л., 1934. Т. 2. С. 293—309.
29. Известия АН СССР. VII сер. 1932. № 1. С. 15—32.
30. *Пушкарэвіч К. А.* Балканские славяне и русские «освободители». (Славянские комитеты и события на Балканах перед русско-турецкой войной 1877—1878 гг.)//Труды Института славяноведения Академии наук СССР. Л., 1934. Т. 2. С. 189—229.
31. *Никитин С. А.* Славянские комитеты в России. М., 1960. С. 264—265.
32. *Бернштейн С. Б.* Трагическая страница из истории славянской филологии (30-е годы XX в.)//Советское славяноведение. 1989. № 1. С. 77—82.
33. *Горяинов А. Н.* Славяноведы — жертвы репрессий 1920—1940-х годов//Советское славяноведение. 1990. № 2. С. 78—89.
34. Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР. М., 1934. № 3. Ст. 30.
35. *Пушкарэвіч К. А. А. Н.* Пыпин о Н. А. Некрасове. (Из письма А. Пыпина к В. Ганке о русской литературе.)//Уч. зап. Ленинградского гос. пед. института им. М. Н. Покровского. Факультет языка и литературы. Л., 1938. Вып. I. С. 72—77.
36. *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. В 6 т. М.; Л., 1931. Т. 6. Путеводитель по Пушкину.
37. ЛО ААН. Ф. 133. Институт языка и мышления им. Н. Я. Марра. Оп. 1. Д. 1632. Л. 28.
38. *Пушкарэвіч К. А.* Чехи. Историко-этнографический очерк. М.; Л., 1942.



*Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, 1991. 536 S.
Правила словацкого правописания*

Издательство Словацкой академии наук «Веда» выпустило в свет новые «Правила словацкого правописания», подготовленные орфографической комиссией Института языкознания им. Людовита Штура САН под руководством чл.-корр. САН Яна Качалы. Учитывая научную и практическую значимость пособий подобного рода, издание новых «Правил» следует расценивать как важное событие не только лингвистического, но и общекультурного плана.

Как среди специалистов-языковедов, так и в кругах культурной общественности Словакии уже давно ощущалась потребность в пересмотре существующих правил орфографии и пунктуации, которые в той или иной мере стали расходиться с современным языковым узусом. Дело в том, что последняя реформа правописания и публикация официально утвержденных «Правил словацкого правописания» (первые «Правила» были изданы в 1931 г.) относится к 1953 г. Впоследствии они многократно переиздавались лишь с некоторыми исправлениями и частными уточнениями. Они, естественно, не могли фиксировать те динамические черты и явления, которыми характеризуется интенсивное развитие литературного словацкого языка в последние десятилетия и которые находят свое отражение в сфере орфоэпии, орфографии и пунктуации. В связи с этим перед словацкими лингвистами встала серьезная и неотложная задача модифицировать ранее узаконенные нормы правописания, привести их в большее соответствие с реальной речевой практикой, описать и кодифицировать некоторые новые явления в орфографии и пунктуации, элиминировать отжившие предписания и т. п. Активная исследовательская и нормализаторская работа в этом направлении развернулась с середины

80-х годов в Институте языкознания им. Л. Штура САН. В процессе сотрудничества с заинтересованными специалистами из других учреждений и широких научных дискуссий была подготовлена новая концепция пособия по словацкому правописанию. В соответствии с ней разрабатываемые «Правила» должны были давать самые новые представления об уровне познания словацкой системы правописания и о решении актуальных проблем правописания; сохранять преемственность проверенных на практике принципов словацкой орфографии (особенно фонематического принципа); в отличие от прежних «Правил», разрабатывать исключительно проблемы правописания в собственном смысле слова (заметим, что старые пособия подобного рода традиционно включали также некоторые сведения и нормативные установки по фонетике и орфоэпии, например, об употреблении и произношении гласных; по морфологии и отчасти синтаксису, например, приводились парадигмы склонения имен существительных и типы спряжения глаголов; по словообразованию — описывались некоторые типы производных слов); уделять особое внимание углубленной трактовке «болевых» точек системы словацкого правописания, которые вызывали большие трудности в письменной практике и по которым велись оживленные дискуссии.

Изданные новые «Правила», на наш взгляд, свидетельствуют об успешной реализации намеченной программы.

Книга состоит из предисловия (S. 11—16), списка используемых сокращений и символов (S. 17—18) и восьми основных разделов: I. Письмо, алфавит и правописание (S. 19—23); II. Написание гласных и согласных (S. 24—34); III. Написание слов иностранного происхождения (заимствованных слов и иностран-

ных имен собственных) (S. 35—43); IV. Раздельное и слитное написание слов (S. 44); V. Разделение слов (S. 45—48). В этом разделе речь идет о правилах переноса слов; VI. Написание заглавных букв (S. 49—78); VII. Транскрипция иных графических систем (S. 79—96); VIII. Пунктуация (S. 97—126). Кроме того, книга включает обширный «Орфографический и грамматический словарь», в котором приводятся кодифицированные написание наиболее употребительных слов литературного словацкого языка и значительное число отобранных личных имен и иностранных топонимов (S. 127—462) и список названий населенных пунктов в Словакии, где указываются производные от данного ойконима названия жителей и соответствующие имена прилагательные (S. 463—533).

«Правила» 1991 г., хотя и базируются на новой общей концепции, в принципиальном плане все же не означают радикальной реформы словацкого правописания. Они призваны упорядочить и усовершенствовать существующую систему орфографии и пунктуации в соответствии с особенностями функционирования литературного словацкого языка в новейший период. В них получили дальнейшую разработку традиционные разделы орфографии (передача буквами гласных и согласных фонем, правила переноса частей слова и т. п.) и пунктуации (употребление знаков препинания). В прежних пособиях был представлен и «Орфографический и грамматический словарь». Наряду с этим и в научной трактовке принципов правописания, и в освещении конкретных проблем «Правила» 1991 г. содержат немало нового. Некоторые фрагменты системы словацкого правописания впервые получают в них теоретическое осмысление и детальную нормативную разработку. Отметим лишь некоторые новые моменты.

В «Правилах» 1991 г. имеется новый раздел, в котором дается теоретическая интерпретация соотношения фонематического, этимологического, морфематического и грамматического принципов в словацкой орфографии и подчеркивается доминирующая роль фонематического принципа.

В корне переработан и значительно дополнен раздел о написании слов иностранного происхождения. Подобная лексика (заимствованные, интернациональные и иностранные слова) представляет собой весьма динамичное звено словарного состава современного словацкого языка. Кодификация написания слов данного типа в новых «Правилах» учитывает

различную степень их адаптации словацким языком: полностью освоенные слова пишутся по правилам словацкой орфографии в соответствии с их произношением в литературном словацком языке (adresa, inžinier, brigáda, džínsy); так же пишется большинство частично освоенных слов, однако они могут сохранять и некоторые признаки исходного способа написания (rizling, pumfa, xylofón); неосвоенные слова употребляются в исходной орфографической форме (derby, menu, kanoe, sujet). Особое внимание уделено унификации написания иностранных собственных имен.

Расширены и по-новому изложены правила написания заглавных букв, в частности, в многословных именах собственных (здесь можно отметить новое нормативное написание таких имен собственных, как Sad slobidy вместо прежнего sad Slobody, Most Slovenského národného povstania вместо прежнего most Slovenského národného povstania и т. п.).

Более основательно и детально разработаны предписания, касающиеся правил передачи средствами словацкой графики (латиницы) графем и графических сочетаний других языков. Они представлены в виде таблиц соответствий, раскрывающих механизм практической транскрипции графем (графических сочетаний) славянских языков, пользующихся кириллической азбукой: русского, украинского, белорусского, болгарского, македонского и сербско-хорватского (сербского), а также греческого языка и трех языков Дальнего Востока (китайского, корейского и японского). Следует подчеркнуть, что в прежних «Правилах» приводилась лишь русско-словацкая аналогичная таблица.

Ряд важных уточнений и дополнений содержится и в той части книги, которая посвящена вопросам пунктуации.

Практическая направленность рецензируемого пособия проявляется не только в четком изложении богатого справочного языкового материала, но и в стремлении авторов к более рациональной разработке системы словацкого правописания, к определенному упрощению отдельных правил и предписаний, к отказу в ряде случаев от чрезмерного ригоризма. В связи с этим можно указать на тенденцию к уменьшению числа исключений из правил, в частности из правила ритмического сокращения слога, под действие которого теперь подпадают некоторые формы, относившиеся прежде к исключениям: действительные причастия настоящего времени на -úci (-úca, -úce)

ср. vládnuci, písuci (раньше были кодифицированы формы vládnúci, písúci); имена существительные с суффиксами -ár, -áreň, ср. bábkár, prevádzkar, prevádzkareň (раньше — bábkár, prevádzkár, prevádzkáreň), узаконение вариантных написаний (например, наречных выражений: dobiela и do biela, dočierna и do čierna, naňest'astie и na ñest'astie; некоторых иностранных слов: teflón и teflon, unfair и unfair) и др.

Новые «Правила» дают системное и систематическое описание функционирования графических (алфавитных и внеалфавитных) знаков, при помощи которых фиксируется нормативный облик слова в современном сло-

вацком литературном языке и создаются письменные (печатные) словацкие тексты. Данное пособие хорошо дополняет целый ряд ранее опубликованных трудов нормативного характера [1] и несомненно будет играть важную роль в повышении уровня грамотности и языковой культуры различных слоев словацкого общества.

Смирнов Л.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Morfológia slovensého jazyka. 1966. S.; Á. Král'. Pravidlá slovenskej výslovnosti. 1984. S.; Krátky slovník slovenského jazyka. 1987. S. и др.



СЛАВЯНЕ И ИХ СОСЕДИ. ЕВРЕЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ФЕОДАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ

Институт славяноведения и балканистики РАН (ИСБ) в рамках цикла «Славяне и их соседи» провел в Москве в марте 1993 г. Международную конференцию на тему «Еврейское население Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы: Средние века — начало Нового времени» (XII Чтения памяти В. Д. Королюка). В конференции приняли участие ученые России, Украины, Беларуси и Израиля.

Тематика конференции имеет не только сугубо научное, но и общественно-политическое значение. Евреи в данном ареале Европы на протяжении столетий были не просто «соседями» славян, но составной частью этносоциальных государственных организмов, их взаимоотношения с коренным населением определялись дихотомией «ксенофобия — интеграция». Занимая свою четко очерченную и довольно обособленную нишу, еврейство вело интенсивный диалог с окружающим социумом, в результате чего контактировавшие культуры взаимообогащались. Этому процессу также способствовало усвоение христианством ветхозаветного культурного наследия.

В средние века отторжение христианским социумом еврейства, негативно-пейоративное отношение к нему основывались прежде всего на конфессиональных различиях. Этнический характер антисемитизм приобретает лишь в процессе формирования национальных государств в Европе.

Изучение истории еврейского населения Европы до недавнего времени у нас было крайне затруднено в силу насаждавшейся нормативной идеологии и политической конъюнктуры, поэтому еврейская тематика в гуманитарных исследованиях в бывшем СССР занимала мар-

гинальное, часто даже андеграундное положение. Однако, как показала данная конференция, существует ряд научных разработок этой проблематики, что в целом способствует не только сциентистскому освоению огромной тематической области, но и просветительскому подходу к материалу, позволяя преодолеть «тьму невежества», окружающую пресловутый «еврейский вопрос». Наука ставит его в совершенно иную плоскость, отменяя тот мутный поток псевдопатриотической публицистики, который в последние годы льется со страниц многих печатных изданий.

Открывая конференцию, чл.-корр. РАН Г. Г. Литаврин (Москва) отметил «вечность» еврейской темы для европейского сознания и подчеркнул, что евреи как этноконфессиональная общность принимали активное участие в жизни общества, внося большой вклад во многие сферы общественного бытия.

Большой круг докладов был посвящен влиянию Ветхого Завета и других древнееврейских литературных памятников на христианскую культуру средневековой Европы, в частности значительное внимание было уделено проблемам перевода сакральных текстов. М. В. Бибииков (Москва) в докладе «Библейский сюжет в византийских и древнеславянских версиях» проанализировал пути трансляции сказания о разделе земли между потомками Ноя через византийскую в древнерусскую письменность. Л. В. Горина (Москва) доказывала, что болгарский пресвитер Григорий был переводчиком фрагментов о пришествии мессии в пророчествах Исайи и других пророческих книгах. А. М. Ранчин (Москва) остановился на сюжете об «огненном столпе» в древнерусской агнографии, его ветхо- и но-

возветных истоках. Е. Б. Рогачевская (Москва) привела ряд наблюдений над «Псалтирью» Федора Еврея, древнерусским памятником XV в., подчеркнув, что он вряд ли был связан с ересью жидовствующих, отражая, скорее, интерес к ивриту как к языку Ветхого Завета. Сообщение М. А. Дзюбенко (Москва) было посвящено сопоставлению тетраграмматона и титла в памятниках письменности. Г. В. Алексеева (Владивосток) дала музыкально-ведческий анализ ветхозаветных «памятей» в древнерусском певческом стихираре.

Многие доклады затрагивали проблему иудейско-европейских контактов в первые века христианства и в раннее средневековье. С. А. Иванов (Москва), анализируя апокрифические «хождения апостолов», пришел к выводу, что миссионерская деятельность героев этих произведений, созданных по образцу античного романа, была направлена на дисперсные иудейские общины, оставляя в стороне «варваров», символом бескультурия которых объявлялся канибализм как синоним нечестия. И. О. Князький (Коломна) в докладе «Русь, Хазария, иудаизм» затронул ряд политико-конфессиональных вопросов, связанных с первыми веками русской государственности. Автор доказал, что нет оснований говорить о «хазарском иге» на Руси, а также увязывать русско-хазарские отношения с проблемой иудаизма. В. Я. Петрухин (Москва), также выступивший против теории «хазарского ига», указал на «Иосиппон» (еврейский хронограф X в.) как на один из источников «Повести временных лет». В. М. Рычка (Киев) остановился на проблеме еврейской общины в Киеве в связи с городскими волнениями 1113 г. В докладе Т. М. Калининой (Москва) подробно освещались маршруты еврейских купцов по данным Ибн Хордадбеха. И. Раба (Тель-Авив) в докладе «Специфика древнерусских описаний Святой Земли» подчеркнул, что в отличие от западных паломников-«туристов», уделявших в своих описаниях много места фактически-бытовой стороне, русские люди прежде всего концентрировались на созерцании наземных свидетельств мира небесного. Их описания имеют личностный характер, свидетельствуя о преодолении ими ряда предрассудков своего времени. В XVII в. появляется новая разновидность жанра хождений — сочетание отчета с художественным описанием увиденного.

Блок докладов был посвящен положению еврейского населения в средневековой Центральной и Юго-Восточной Европе. О. И. Варьяш (Москва) дала анализ юридического ас-

пекта проблемы, выявив те положения законодательства о евреях, которые получили общеевропейское распространение. И. Ф. Макарова (Москва) остановилась на вопросе о положении еврейского населения в Болгарии в XV—XVII вв., отметив искусственную взаимоизоляцию обоих этносов. В докладе А. В. Ратобильской (Москва) был дан анализ положения, прежде всего юридического, евреев в Венгрии в X—XII вв. А. В. Рандин (Йошкар-Ола) привел обстоятельный обзор положения евреев в Чешском королевстве в X—начале XVI в., обратив особое внимание на гуситскую эпоху. Р. В. Непомнящая (Москва) заострила внимание на месте еврейских погромов в политике Карла IV (XIV в.). Г. П. Мельников (Москва) остановился на социально-экономическом положении пражского еврейского купечества на рубеже XVI—XVII вв., осветив деятельность его крупнейших представителей. Проблеме отношения к евреям в польской средневековой литературе был посвящен доклад В. В. Мочаловой (Москва), в котором анализировались общественно-литературные стереотипы XVI—XVII вв.

В ряде докладов освещались различные аспекты еврейской проблематики в политике и культуре XVIII — начала XIX в. В. И. Шеремет (Москва) проанализировал османскую политику использования еврейского населения в своих политических целях, особенно в период Крымской войны. С. А. Кузнецова (Минск) посвятила доклад отражению быта и самосознания еврейства Речи Посполитой XVIII в. в творчестве бытописателя российского еврейства Л. Леванды. Л. А. Софронова (Москва) остановилась на типологии богоизбранного народа в польском мессианизме. А. Б. Рогачевский (Москва) изложил взгляды Н. М. Карамзина на «еврейский вопрос» в истории России. Еврейской теме в «Истории запорожских казаков» крупного украинского историка и этнографа начала XX в. Д. И. Эварницкого был посвящен доклад Ю. Е. Ивонина (Запорожье). В. А. Сосно (Минск) осветил малоизвестную проблему государственных проектов превращения еврейского населения Белоруссии в сельскохозяйственное во второй трети XIX в.

Определенную односторонность конференции, рассматривавшей еврейскую проблематику лишь с позиций иных народов Европы, среди которых жили евреи, отчасти компенсировал доклад М. Д. Давидсон (Санкт-Петербург) «Пионеры еврейского просвещения», в котором была показана специфика еврейского просветительства XVIII в. в Польше, где

просвещение своего этноса мыслилось без отрицания традиций; особое значение придавалось образованию, поскольку знание считалось путем познания божественного совершенства. Культ знаний обусловил распространение образования как среди богатых, так и бедных евреев, что впоследствии обусловило популярность в еврейской среде так называемых свободных профессий (интеллигентного труда).

В дискуссии по докладам отмечалась непосредственная связь казалось бы далекой средневековой тематики с современностью, с актуальными аспектами еврейской проблемы.

К конференции был издан специальный сборник тезисов «Славяне и их соседи. Еврейское население Центральной, Восточной и

Юго-Восточной Европы: Средние века — начало Нового времени», в котором, помимо тезисов большинства упомянутых докладов, опубликованы две статьи академика РАН В. Н. Топорова о древнерусско-еврейских связях, а также материалы тех докладчиков, которые не смогли выступить на конференции (А. П. Новосельцев, Г. Г. Литаврин, А. И. Рогов, М. М. Фрейденберг и др.).

В целом, конференция показала глубокий научный и общественный интерес к проблематике «Евреи в Европе» и перспективность ее изучения, способствующего преодолению устаревших этнических стереотипов.

Мельников Г. П.



ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

Славяноведение в СССР: Изучение южных и западных славян. Библиографический словарь. Нью-Йорк, 1993. 528 с.

Данный словарь, подготовленный к изданию Институтом славяноведения и балканистики, увидел свет в американском издательстве Norman Ross Publishing Inc. В Отечестве средств на публикацию уже набранной рукописи словаря, увы, не нашлось (см. С. VI—VII). Остается утешаться тем, что огромный труд большого коллектива ученых вообще стал доступен читателю.

Хронологически издание является прямым продолжением выпущенного в 1979 г. библиографического словаря «Славяноведение в дореволюционной России» и охватывает время от первых лет советской власти до конца 80-х годов, когда была в основном закончена работа над рукописью словаря. В словарные статьи, которых издание содержит около полутора тысяч, были включены ученые, опубликовавшие до 1987 г. не менее одной книги или пяти исследовательских статей по славяноведческой проблематике; некоторые статьи дополнялись новыми данными по состоянию на конец 1988 г. Сами статьи содержат краткие биографические сведения об ученых и библиографию их славистических работ; в случае целесообразности читатель отсылается к словарю «Славяноведение в дореволюционной России».

Словарным статьям предпослан краткий обзор основных этапов истории советского славяноведения (С. 6—48). Хотя на обзор не могло не наложить отпечаток время, когда он был написан, тем не менее обзор представляет безусловную исследовательскую ценность. В нем рассматриваются: организационные формы, кадры и материальная база развития славяноведения в СССР; основные результаты исследований по истории южных и западных славян; изучение культуры и искусства, литератур зарубежных славян; развитие славянского языкознания.

Остается надеяться, что данное чрезвычайно полезное и нужное ученым различных отраслей гуманитарного знания издание, изначально обреченное стать библиографической редкостью, в расширенном и доработанном виде увидит свет в России.

Васильев М. А.



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РУССКИЙ АВАНГАРД В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

Конференция «Русский авангард в контексте европейской культуры», проходившая 4—7 января 1993 г. в Государственной Третьяковской галерее, была организована Научным советом по комплексной проблеме «История мировой культуры» РАН, предпринявшим поистине героические усилия по подготовке и проведению первого в отечественной научной традиции академического мероприятия, полностью посвященного этой необъятной и неоднозначной проблеме. Именно благодаря «подвижничеству» оргкомитета конференции, поддержанному Международным фондом «Культурная инициатива» и Третьяковской галереей, могла состояться интересная и плодотворная встреча российских ученых с коллегами из США, Германии, Италии, Голландии, Швеции, Израиля, Польши и Чехии.

Актуальность конференции трудно переоценить: специфический ореол, окружавший русский авангард в 60—70-е годы, сделал его «личным» достоянием «второй» культуры и почти полностью вывел из сферы собственно научного освоения. В результате, формальные приемы Малевича и Кандинского, Хлебникова и Хармса, тиражируемые советским «постмодернизмом», почти полностью затмили внутренний, индивидуальный и общекультурный смысл русского авангарда. Кроме того, однозначность идеологической оценки этого явления со стороны официальной науки не предрасполагала к существованию объективного взгляда на авангард в «альтернативной» традиции, вынужденной обходить молчанием все то, что могло так или иначе повредить «репутации» авангардного искусства.

Таким образом, культурной и научной «сверхзадачей» конференции стало преодоление двух этих своеобразных зон молчания, в последние годы активно заполняемых не только серьезными исследованиями, но и околонучной публицистикой. Именно эту цель конференции определил во вступительном слове Д. Сараянов, назвавший в ряду наиболее актуальных проблем, предполагаемых к рассмотрению, вопрос о культурных границах и внутреннем значении термина «авангард» и взаимоотношениях стоящего за ним явления с традиционным искусством и научным сознанием.

Отсутствие строгой научной основы в практике осознания авангарда отчетливо проявилось в искусствоведческих докладах, по большей части носивших историко-описательный или общетеоретический характер; единственное, пожалуй, аналитическое сообщение в этой части конференции было сделано Д. Боултом, продемонстрировавшим в докладе «Орфизм и симультанизм: русский вариант» определенную зависимость живописных поисков Экстер, Лентулова, Матюшина и Якулова от творчества Робера и Сони Делоне. На связях живописи и поэзии в авангардном искусстве остановились в своих сообщениях Н. Гурьянова — «Взаимоотношения супрематизма и заумной поэзии» и Т. Горячева — «Кубофутуризм как мироощущение». Проблема типологии русских живописных и литературных авангардных манифестов была рассмотрена в выступлении И. Карасик — «Манифест в русском авангарде».

С различными аспектами визуальной стороны авангардного искусства был связан ряд сообщений, предметом исследования в которых стала футуристическая книга. Так, доклад Ю. Молока «Футуристическая книга глазами конструктивистов: обратный взгляд» был посвящен проблеме преемственности/непреемственности футуризма, стремящегося к индивидуальному, неповторимому (рукописная, литографированная книга), и конструктивизма, ориентирующегося на универсальный стиль (объективная печатная форма — плакат, обложка). О радикальном варианте зауми, предложенном И. Зданевичем и представлявшем собой единую живописно-письменную композицию («дра»), рассказал Л. Магаротто («„Неумная“ авангардистская деятельность И. Зданевича»). Сообщение Л. Кациса «„Лубки“ В. Каменского: слово и изображение в русском футуризме» строилось на предположении прямой связи поэмы Каменского «Солнце и Тифлис» с египетскими работами Розанова, в том числе и в собственно графическом плане.

К сожалению, на тематике прозвучавших на конференции выступлений не могло не сказаться отсутствие традиции изучения творчества таких «типичных» представителей авангардного искусства, как А. Крученых, И. Терентьев, А. Туфанов, В. Гнедов и другие; не прозвучало на конференции и имя И. Северянина. В то же время, особое — и вполне заслуженное — внимание было уделено художественному наследию В. Хлебникова, которое стало темой отдельного заседания. Проблема соотношения натурфилософских взглядов Хлебникова и современной ему философской и естественнонаучной мысли была рассмотрена в докладе В. Вестштейна «Велимир Хлебников и научно-философская дискуссия начала XX в.», посвященном сопоставлению хлебниковских воззрений на пространство и время с концепциями Эйнштейна, Т. де Шардена, Успенского. Одна из записных книжек Хлебникова конца 1921 — начала 1922 гг. стала предметом анализа в сообщении Х. Барана «„Что я изучил...“: в творческой лаборатории позднего Хлебникова», показавшего конкретные источники большинства фактических записей, относящихся к сфере русских языческих и христианских верований и проявившихся в ряде стихотворений этого периода жизни поэта. К вопросу о предвосхищении практики западноевропейских дадаистов в некоторых тенденциях русского футуризма обратился А. Парнис в выступлении «„Ни один Париж не выдал такого скандала...“». Элементы прото-дада в русском футуризме». Различным аспектам хлебниковского творчества были посвящены доклады В. Григорьева — «Велимир Хлебников и авангард» и А. Гарбуза — «К интерпретации стихотворения Хлебникова „Гонимый — кем, почему я знаю?“». Концепции и творческое воплощение звукоподражания у Маринетти, Хлебникова и Крученых сопоставила в выступлении «Фоносимволизм и звукоподражание (ономатопея) в поэтике итальянского и русского футуризма» Г. Импости.

Непосредственно с проблемами русского авангарда был связан и еще один тематический блок сообщений. Так, доклад М. Лекомцевой «Одно замечание о прозе П. Филонова» был посвящен известному произведению художника «Проповень о проросли мировой», где с наибольшей полнотой проявляется один из устойчивых филоновских способов образования новых семантических единиц — изменение рода имен существительных. О двухлетнем пребывании Р. Якобсона в Швеции перед началом второй мировой войны и связанных с этим периодом фактах биографии ученого рассказал Б. Янгфельд — «О „шведском“ периоде Р. Якобсона». О Панченко в выступлении «Пространство и время в контекстах Романа Якобсона и Виктора Шкловского» проанализировала некоторые особенности исследовательских «хронотопов» двух опозовцев. К фигуре Е. Гуро привлекла внимание М. Тилльберг, в сообщении «Север, природа и смерть в творчестве Елены Гуро» рассмотревшая соотношение биографии автора с ключевыми образами ее поэтики. Авторы еще двух докладов обратились к творчеству группы ОБЭРИУ — завершающему эпизоду истории отечественного авангарда, еще только начинающему получать широкое научное осмысление. Сообщение М. Мейлаха «ОБЭРИУ: диалог постфутуризма с традицией» строилось как на описании конкретных связей Введенского и Хармса с И. Терентьевым и А. Туфановым, так и на анализе роли культурного наследия в биографии и творчестве обэриутов. Доклад «Грамматика абсурда и абсурд грамматики» Е. Бабаевой и Ф. Успенского основывался на рассмотрении языковой системы Хармса как одной из главных образующих его поэтического мира. Сообщение О. Шиндиной «Музыкальная тема в романе Вагинова „Козлиная песнь“» было посвящено музыкальной природе этого произведения, являющейся следствием его донисийско-трагедийной основы и одной из составляющих смыслообразующего, обеспечивающего тексту статус культурного «бессмертия».

Несколько выступлений строилось на соположении авангарда и символизма. Общетеоретическую сторону этой проблемы рассмотрел Р.-Д. Клуге («Символизм и авангард в русской литературе: перелом или преемственность?»), сделавший вывод о безусловной генетической зависимости отечественного авангарда от художественного опыта символистов. Брюсовской позиции ученика, культурного наследника Верлена, реконструируемой на основе архивных материалов, посвятил свое сообщение С. Гиндин («Брюсов присягает Верлену: о роли традиции в авангардном искусстве»). Одного из фрагментов полемики символизма с европейским авангардом коснулась Д. Рици («К постсимволистской рецепции авангардизма: П. П. Муратов»). Историко-литературный контекст, в котором совершалось формирование и развитие мировоззренческих и художественных установок русского авангарда, был представлен на конференции имени М. Кузмина, Н. Гумилева, Б. Пастернака, О. Мандельштама, Ю. Олеши; характерной особенностью выступлений, посвященных творчеству этих авторов, стало отсутствие рассмотрения прямой его связи с авангардным искусством, что одновременно обусловлено и реалиями литературного процесса 20—30-х годов, и сложившейся в научной традиции практикой неясного «исключения» авангарда из сферы «серебряного века». Н. Богомолов рассказал в сообщении «М. Кузмин осенью 1907 г.» о некоторых эпизодах творческой биографии поэта, восстанавливаемых за счет привлечения архивных материалов. Поэзия Кузмина наряду с творчеством Брюсова и Гумилева была сопоставлена с наследием Кавафиса в докладе С. Ильинской «К. Кавафис и русская поэзия „серебряного века“». Выступление «Пастернак и Кузмин» Е. Толстой содержало анализ «Доктора Живаго» в связи с мировоззренческой позицией С. Дурьлина, изложенной им в книге «Вагнер и Россия»; кроме того, автор остановилась на возможных цитатных переключках между пастернаковским романом и творчеством Кузмина. Сообщение С. Шиндина «О метатекстуальном аспекте „Стихов о неизвестном солдате“ Мандельштама» строилось на рассмотрении темы смерти художника, возникающей в поэтическом мире Мандельштама уже в 10-е годы и во многом определяющей специфику

содержательного строя «Стихов о неизвестном солдате». Совершенно новую трактовку повести Олеши «Зависть» предложил М. Вайскопф, в докладе «„Машинистка Лизочка Каплан“ (Ленин и братья Бабиचेва в „Зависти“ Ю. Олеши)», предположивший наличие в повести скрытого слоя, являющегося своего рода иронической реакцией на формирующийся с середины 20-х годов литературный миф о Ленине.

Конференция завершилась «круглым столом», на котором выступили: В. Успенский, Д. Сарабьянов, Е. Завадская, Н. Зоркая, Т. Николаева, Л. Клеберг, А. Поморски и др. Несмотря на единодушие в оценке прошедшей конференции (в том числе и ее редкого по нынешним временам высокого организационного уровня), ставшей, по мнению большинства выступавших, важным этапом в научном освоении отечественного авангарда, за «круглым столом» были затронуты проблемы, так и не получившие разрешения за три дня заседаний. Вероятно, главная из них — отсутствие «окончательного», «универсального» определения авангарда и как художественного направления, и как мироощущения; именно об этом говорили В. Успенский, Д. Сарабьянов, С. Кузнецов, предложившие собственные «рабочие» определения. О некотором злоупотреблении сравнением авангардного искусства с научной деятельностью сказал Л. Клеберг, проиллюстрировавший свои слова анализом эксперимента в науке и авангарде. Вопросы «новой цензуры», исключающей возможность критических оценок авангарда и сознательно игнорирующей его социальную ангажированность, коснулась Н. Зоркая.

Тематические рамки конференции значительно расширились бы, прозвучи на ней ряд сообщений, представленных в сборнике тезисов (см. [1]), выпущенного к началу конференции. В первую очередь это относится к тезисам Вяч. Вс. Иванова — «Практика авангарда и теоретическое знание XX в.», Г. Левинтона — «Заметки о Хлебникове», В. Топорова — «„Минус“ — пространство Сигизмунда Кржижановского», Т. Цивьян — «Предмет в обэриутском мироощущении и предметные опыты Магритта», М. Ямпольского — «Плоскость лица и культура раннего авангарда» и др.

Главным результатом конференции «Русский авангард в контексте европейской культуры», очевидно, следует считать ее «прецедентный» характер: начисто лишенная какого-либо публицистического, «мемориального» звучания, конференция одновременно и обнаружила существовавшую на протяжении почти трех десятилетий традицию научного изучения такого неоднозначного явления, как русский авангард, и в полной мере продемонстрировала актуальность дальнейшего всестороннего его осмысления — и как самобытной составляющей отечественной культурной традиции, и как фрагмента широкой общеевропейской перспективы.

С. Ш.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Русский авангард в кругу европейской культуры: Международная конференция. Тезисы и материалы. М., 1993.



ЮБИЛЕЙ ЛЬВА СЕРГЕЕВИЧА КИШКИНА

19 марта 1993 г. исполнилось 75 лет известному богемисту, доктору исторических наук, ведущему научному сотруднику-консультанту Отдела славянских литератур ИСБ РАН, многолетнему автору нашего журнала, Льву Сергеевичу Кишкину.

Четыре десятилетия Л. С. Кишкин углубленно занимается историей чешской и словацкой литератур, сравнительным изучением славянских литератур, являясь специалистом широкого профиля. Среди трудов Льва Сергеевича, созданных за последние годы (библиография работ, написанная до 1978 г., была опубликована в Праге: *Л. С. Кишкин. 1918—1978. Библиография. Вступ. статья Л. Штоллы. Прага, 1978*) — книги «Бродзянские реликвии» (1981), «Чешско-русские литературные и культурно-исторические контакты» (1983), «Чехословацкие находки» (1985), «А. Ф. Смирдин» (1987), «Словацко-русские литературные контакты в XIX в.» (1991), «Литературные связи. Предмет, цели и методика изучения» (1992).

Лев Сергеевич Кишкин — один из инициаторов изучения славистами Института литературных и культурных связей в конкретно-историческом и теоретико-методическом аспектах, что нашло свое отражение, в частности, в таких коллективных трудах последних лет, как «Литературные связи и литературный процесс» (1986), «Функции литературных связей» (1992), вдохновителем и неперенным участником которых ученый является.

Увлеченность исследователя, неутомимо стремящегося к открытию и введению в научный оборот новых фактов из истории славянских литератур и культур, проявляется и в его работах, опубликованных на страницах нашего журнала. Среди них немало статей, свидетельствующих о широте интересов ученого — в частности, здесь представлена и пушкинская тема, и новые данные о взаимных контактах деятелей славянских культур, и материалы к биографии Л. Н. Толстого, и историческое освещение и теоретическое осмысление литературных связей, и неизвестные ранее факты из истории культуры.

Коллеги сердечно поздравляют глубокоуважаемого юбиляра, Льва Сергеевича Кишкина, и желают ему долгих лет плодотворного труда на благо нашей славистической науки.

**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 1993 ГОДУ**

ДИСКУССИИ

Васильев М. А. Славяне и анты: К проблемам этногенетических и раннеэтно-исторических процессов в славяноязычном мире	№ 2
Иванов С. А. Славянская этничность как методологическая проблема	№ 2
Петрухин В. Я. К дискуссии о начале славянской этнической истории	№ 2
Социалистический реализм как историко-культурное явление	№ 5
Чешко С. В. Этническая история славян с точки зрения проблем этнологии	№ 2

СТАТЬИ

Авенариус А. Ранние славяне в Среднем Подунавье: автохтонная теория в свете современных исследований	№ 2
Аксенова Е. П. Институт им. Н. П. Кондакова: попытки реанимации (по материалам архива А. В. Флоровского)	№ 4
Бобрин М. Н. Финансовая реформа Владислава Грабского	№ 6
Гловинский М. Поэтика и нелитературные тексты	№ 1
Горизонтов Л. Е. «Методологический переворот» в польской историографии на рубеже 1940—1950-х годов и советские историки	№ 6
Грачев В. П. Новый взгляд на проблему формирования предпосылок сербского восстания 1804—1813 годов	№ 1
Гурски Рышард Ю. И. Крашевский и славянство	№ 6
Досталь М. Ю. Российские слависты-эмигранты в Братиславе	№ 4
Досталь М. Ю. Чешская наука в канун перелома (2-й съезд чехословацких историков в 1947 году)	№ 6
Дьяков В. А. Т. К. «стюшко и его соратники после сражения при Мацейовице (1794—1796)	№ 5
Дьяков В. А. О научном содержании и политических интерпретациях историософии евразийства	№ 5
Евзлин М. Мифологическая структура преступления и безумия в повести А. С. Пушкина «Пиковая дама»	№ 2
Жулинская Э. В. Взгляды Юрия Крижанича и Яна Амоса Коменского на школьное образование (вторая половина XVII века)	№ 1
Замойски Я. Отношение «белой» русской эмиграции к украинским вопросам (1919—1939)	№ 4
Злыднев В. И. У истоков болгарского театра	№ 3
Из словаря «Славянские древности»	№ 6
Кручковский Т. Т. Проблемы разделов Речи Посполитой в русской историографии второй половины XIX — начала XX века	№ 5
Крысько В. Б. Категория одушевленности в древненовгородском диалекте	№ 3
Липатов А. В. Исторический роман: общие закономерности и национальная специфика (русско-польские типологические параллели XVIII — середины XIX века)	№ 3
Литаврина М. Американские сады Аллы Назимовой	№ 4
Новопашин Ю. С. Вторжение в Чехословакию в 1968 г. как воплощение практики «классового подхода»	№ 1
Носов Б. В. Курляндское герцогство и российско-польские отношения в 60-е годы XVIII века: к предыстории разделов Речи Посполитой	№ 5
Носов Б. В. Разделы Речи Посполитой и русско-польские отношения второй половины XVIII века в зарубежной историографии (1970-е — начало 1990-х годов)	№ 5
Невская Т. В. «Корнеслов русского языка» Ф. С. Шимкевича в свете этимологической историографии	№ 1
Пашаева Н. М. Типология славянской книги эпохи национального возрождения	№ 3
Перович Л. Социалистическая мысль в Сербии во второй половине XIX века	№ 3
Ронин В. К. Русская публицистика в Бельгии в середине XIX века	№ 4
Сладек З. Русская эмиграция в Чехословакии: развитие «русской акции»	№ 4
Толстая С. М. Этнолингвистика в Люблине	№ 3

Флоря Б. Н. Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII—XIV веках (к вопросу о зарождении восточнославянских народностей)	№ 2
Шеремет В. Д. Греческая революция 1821—1830 гг. и турецкие реформаторы и консерваторы	№ 1
Шиндин С. Г. О возможном присутствии рефлексов архаического ритуала в русских заговорах	№ 3

СООБЩЕНИЯ

Бернштейн С. Б. О Луначарском (по данным дневниковых записей)	№ 1
Бубенкова М., Вахаловска Л. Из писем о литературе А. Л. Бема	№ 4
Досталь М. Ю. Неопубликованная статья А. А. Кизеветтера по проблемам славянской идеологии	№ 4
Едемский А. Б., Карасев А. В., Цехмистренко С. П. К истории Македонского вопроса	№ 1
Кишкин Л. С. О русской эмигрантской молодежи в Праге (1920—1930-е годы)	№ 4
Кишкин Л. С. Русские в Карловых Варах (Карлсбаде)	№ 3
Клепикова Г. П. К изучению лексики новоболгарских дамаскинов	№ 3
Орел В. Из комментария к «Списку народов» (Genesis 10)	№ 2
Хаясака Макото. Русские якобинцы и М. П. Драгоманов — споры о путях решения национального вопроса	№ 3

ИЗ ИСТОРИИ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

Аксенова Е. П., Васильев М. А. Проблемы этногонии славянства и его ветвей в академических дискуссиях рубежа 1930—1940-х годов	№ 2
Аксенова Е. П., Горяинов А. Н., Молок Ф. А. Константин Алексеевич Пушкиревич	№ 6

МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Кравецкий А. Г. Морфология	№ 1
Кравецкий А. Г. Дискуссия о церковнославянском языке (1917—1943)	№ 5
Плетнева А. А. Имя существительное	№ 1
Плетнева А. А. Имя существительное (продолжение)	№ 2
Седакова О. А. Церковнославянско-русские паронимы (продолжение)	№ 1
Седакова О. А. Церковнославянско-русские паронимы (продолжение)	№ 2
Седакова О. А. Церковнославянско-русские паронимы (продолжение)	№ 4

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Аникин А. Е. Słownik prasłowiański, opracowany przez zespół słowianoznawstwa PAN. T. VI	№ 1
Аникин А. Е. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 7	№ 3
Аникин А. Е. Elementa. Journal of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics	№ 4
Костяшов Ю. В. Балканы в конце XIX — начале XX века. Очерки становления национальных государств и политической структуры в Юго-Восточной Европе	№ 1
Лабынцев Ю. А. Библия: Факсимільнае ўзнаўленне Библиі, выдадзенай Францыскам Скарынаў ў 1517—1519 гадах	№ 1
Лабынцев Ю. А. A Mironowicz. Podlaskie osrodki i organizacje prawoslawne w XVI i XVII wieki	№ 3
Лаптева Л. П. В. Т. Пашуто. Русские историки-эмигранты в Европе	№ 4
Молдован А. М. Sermons and Rhetoric of Kievan Rus'	№ 3
Назаренко А. В. Два лица одной России. К выходу в свет книги В. Т. Пашуто «Русские историки-эмигранты в Европе»	№ 4
Ратобылская А. В. M. Raeff. Russia Abroad. A Cultural History of the Russian Emigration 1919—1939	№ 4
Смирнов Л. Правила словацкого правописания	№ 6
Топорков А. Л. La cultura spirituale russa	№ 4
Топорков А. Л. В. Н. Топоров. Неомифологизм в русской литературе начала XX в. Роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярины»	№ 4
Чуркина И. В. Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII—XIX вв. Типология и взаимодействия	№ 3

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Досталь М. Ю. Круглый стол «Российская эмиграция в славянских странах»	№ 4
Лешкова О. О. Ломоносовские чтения	№ 1

Мельников Г. П. Славяне и их соседи. Еврейское население в феодальной Европе	№ 6
Стемковская Ю. Е. Типологическое и сопоставительное изучение славянских и балканских языков	№ 3

ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

Васильев М. А. Славяноведение в СССР: Изучение южных и западных славян. Библиографический словарь	№ 6
Поттхофф В. Данте в России. К восприятию Италии в русской литературе от романтизма до символизма	№ 2
Studia Polonica. К 60-летию В. А. Хорева	№ 2

НОВЫЕ КНИГИ

Гришина Р. П. Пленники национальной идеи. Политические портреты лидеров Восточной Европы. Конец XIX — 40-е годы XX в.	№ 3
---	-----

ХРОНИКА

Гринцер Н. П. Балканские чтения-2	№ 1
Никольский С. В. Конференция в Харькове	№ 5
Шиндин С. Международная конференция «Русский авангард в контексте европейской культуры»	№ 6
Венедиктов Г. К. Международная конференция по диалектологии и лингвистической географии в Софии	№ 5
70 лет академику Н. И. Толстому	№ 5
Юбилей Л. С. Кишкина	№ 6
Книжная полка слависта	№ 2
Книжная полка слависта	№ 3

CONTENTS

ARTICLES

From the Dictionary «Slavic Antiquities»	3
<i>Dostal M. Ju.</i> Czech science on the eve of the breakage (the 2-nol Congress of Czech Historians in 1947)	39
<i>Jorizontov L. E.</i> Methodological overturn in Polish historiography on the verge of 1940—50-ies and the soviet historians	50

COMMUNICATION

<i>Gursky R. Ju. I. Krashevsky and the Slavs</i>	67
<i>Bobric M. N.</i> Financial reform by Vladislav Grabsky	76

FROM THE HISTORY OF SLAVIC STUDIES

<i>Aksyonova E. P., Goryainov A. N., Molok F. A.</i> Konstantin Alexeevich Pushkarevich	84
---	----

REVIEW ARTICLES AND REVIEWS

<i>Smirnov L.</i> The Rules of Slovak orthography	98
---	----

SCIENTIFIC LIFE

<i>Melnikov G. P.</i> The Slavs and their neighbours. The Jewish population in feudal Europe	101
--	-----

NOTES OF BOOKS

<i>Vasilyev M. A.</i> Slavic Studies in the USSR. Investigation of the Southern and Western Slavs. Biobibliographic dictionary	104
--	-----

CHRONICLE

<i>Shindin S.</i> International Conference «The Russian Avant-garde in the context of European Culture»	105
Jubilee of L. S. Kishkin	108
Index of articles published in 1993	109

Технический редактор *В. М. Пахомова*

Сдано в набор 11.08.93 Подписано к печати 03.10.93 Формат бумаги 70 × 100¹/₁₆
Офсетная печать Усл. печ. л. 9,1 Усл. кр.-отт. 10,0 Уч.-изд. л. 11,1 Бум. л. 3,5
Тираж 1038 экз. Зак. 178 Цена 18 р.

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а. Телефон 938-04-20
Московская типография № 2 ВО «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

Индекс 70891